

Б И Б Л И О Т Е К А

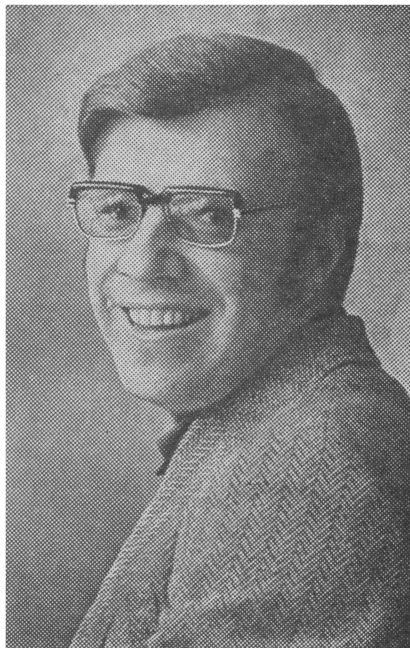
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 48

1981



Сергей АБРАМОВ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

ДВОЕ ПОД ОДНИМ
ЗОНТОМ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 48

Сергей АБРАМОВ

ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ

АПРЕЛЬСКАЯ СКАЗКА

Москва. Издательство «ПРАВДА»

1981

Сергей АБРАМОВ

Сергей Александрович Абрамов родился в 1944 году в Москве. По образованию инженер-строитель, в 1966 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт и тогда же опубликовал первую повесть — «Хождение за три мира», написанную в жанре научной фантастики вместе с отцом, писателем Александром Абрамовым. Содружество отца и сына в этом жанре продолжается много лет: они авторы шести книг («Тень императора», «Всадники ниоткуда», «Рай без памяти», «Серебряный вариант» и др.), завоевавших широкую читательскую популярность.

В 1976 году выходит первая самостоятельная книга Сергея Абрамова — «Опознай живого», адресованная молодому читателю, ищущему «делать жизнь с кого». Нравственная проблематика — в какую бы форму она ни облечена: сказки ли, остросюжетной приключенческой повести или фантастического произведения — становится главной в творчестве писателя. Повести «Сложи так», «Проводы», «Происшествие», «Выше радуги», «В лесу прифронтовом», «Рыжий, красный, человек опасный», публиковавшиеся в периодике и вошедшие в авторские сборники Сергея Абрамова, глубоко исследуют внутренний мир нашего современника, рассказывают о проблемах, которые сегодня волнуют «юношей, обдумывающих житье».

Сергей Абрамов — председатель Совета по научно-фантастической, приключенческой и детективной литературе Союза писателей РСФСР.

Ночь и дождь, ночь и ветер — мокрый и колкий, забытый зимой в этом насквозь продрогшем апреле, в этом фальшивом апреле, который даже и не притворяется серединой весны. Впрочем, днем еще туда-сюда: солнце проглянет иной раз, чуть согреет ветер «умеренный до сильного», а уж ночью...

«Ночь нежна», — сказал некий классик. Счастливчик: он не шлепал по черным лужам в заполуночном мороке, когда фонари на столбах — из разумной экономии, вестимо! — уже погашены, утлый зонт мощно рвется из рук, но его подъемной силы — увы! — недостаточно, чтобы перенести тебя по воздуху прямо к остановке троллейбуса, зато твоих сил едва хватает, дабы не упустить его в свободный полет. А дождь между тем нещаден.

Плюс еще одно существенное неудобство: холодно.

Были бы денежки, плевать тогда на все неудобства: теплое такси — лучшее средство от стихийных неурядиц. Но зарплата ожидалась лишь в среду, а полчаса назад настал понедельник, и даже если попоститься пару деньков, все одно на рупь с мелочью, имеющиеся в кармане, до дому на такси не добраться. Вот так-то: безденежье — род подвижничества...

Вслед за зонтом Дан выскочил из крутого переулка на Садовое кольцо и не без усилий направил зонт к троллейбусной остановке. Она была безлюдна — под стать улице, несмотря на поздний час, и Дан с тоской подумал: а вдруг троллейбусы уже забились в свои теплые стойла, и ожидать их весьма напрасно, перспектив никаких?

Требовалось терпение, и Дан верил, что обладает им; он прислонился спиной к дереву, смотрел на редкие автомобили, глассерами несущиеся по мелкой реке Садового кольца. Она текла мимо Дана, мимо его крохотной пристани, обозначенной жестяной табличкой с буквой «Т» на фонарном столбе, асфальтовой Волгой вливалась она в ночной шлюз тоннеля — там, вдалеке, у Таганки, — в яркий квадрат, чуть приглушенный штриховкой дождя.

— Давно ждете?

Это было слово, вернее, слова, даже законченная фраза с вопросительной интонацией, но она помстилась Дану явным наваждением,

таинственным порождением ветра или дождя, говоря по-научному, абберацией слуха. И все же он обернулся, выглянул из-под своего раскладного укрытия, крошечного зонтика, поискал причину ослашки. Причина эта — вполне реальная, однако — предстала неким марсианским существом малого роста в длиннополном темном, цвета ночи, балахоне, почти без лица, но Дан все же отметил глаза — то ли сами горели они кошачьим огнем, то ли блеснули чем-то отраженным: может быть, фары промчавшегося авто вспыхнули в них.

Но было нечто, зачеркнувшее придуманную Даном гофманиаду, нечто современно-рациональное, утилитарно-целесообразное, более того — роднившее Дана с этим ночным фантомом: зонт. Слишком пестрый, несерьезный, с какими-то розочками, разводиками, и, углядев его, Дан не без грусти умерил разгулявшееся воображение, и балахон цвета ночи стал обыкновенным модным плащом — с пелеринкой, с пояском, со всем, что положено, а глаза ожидающе смотрели из-под платка, повязанного по-бабьи — по брови, чтоб дождь не мочил волосы.

Короче, перед Даном стояла женщина, терпеливо ждала ответа на свой вопрос.

— Минут пять, — сказал Дан и усомнился: на самом деле, сколько он стоит, подпирая спиной голую липу? Время текло, пожалуй, столь же медленно, как и асфальтовая река у низкого берега тротуара, оно безмерно растянулось этой пустынной ночью, а то и вовсе исчезло — ночь вне времени. Иначе, куда подевались троллейбусы? Расписание-то у них существует...

— Минут пять, — сказал Дан. — А может, и больше. Может, целый час.

— Вы, наверно, выпили? — спросила женщина, но не было в ее вопросе привычного презрения к пьяному мужику, а слышалось некое сочувственное понимание: мол, я приму вашу шутку, но объясните мне ее подоплеку, если это и вправду шутка.

— Выпил, — сознался Дан, — но самую капельку, — ему почему-то нравилось отвечать женщине, и шутить ему тоже хотелось, несмотря на мрачную погоду, скорее — вопреки ей. — Совсем малую капельку красного вина, но она сместила мое понятие о времени, и минута для меня сейчас равна часу и наоборот.

Произнес так, послушал себя со стороны: каково?

А оказалось — никак.

— Вы очень трезвый, очень мокрый и очень замерзший человек, — сказала женщина, и в голосе ее не было ни улыбки, ни сочувствия: лишь констатация факта. — Когда доберетесь до дому, то непременно примите ванну, выпейте горячего чая и можете позволить себе несколько капелек воспетого вами напитка.

Вот вам удобный повод для флирта: «ночь, улица, фонарь»

и двое — мужчина и женщина, Он и Она, и Она не прочь поддержать беседу, поначалу — легкую и безрассудную, а что потом — не к чему загадывать... Но подобная мысль показалась Дану обманной, слишком поверхностной, пустоватой; он чувствовал, что женщина просто поддерживает разговор — не больше! — и будь на его месте иной или иная, все вышло бы точно так же: встретились на мгновение, перебросились десятком малозначащих фраз и разошлись, тут же забыв друг о друге. Добрая приветливость случайных прохожих — исконно русская черта, к сожалению, забытая ныне, даже вызывающая порой удивление в суетливой городской беготне...

— Я бы с радостью последовал вашему совету, — улыбнулся Дан, размягченный собственными мыслями, — но для этого надо сначала доехать до дома. А троллейбуса нет и не предвидится.

— Почему не предвидится? — удивилась женщина, и удивление ее показалось Дану не наигранным — вполне искренним. — Сейчас подойдет.

— Прямо сейчас? — Дан все же пытался шутить.

Но женщина не приняла шутливого тона.

— Прямо сейчас, — серьезно сказала она. — Закройте глаза и сосчитайте до десяти. Ну, закройте, закройте, что вам стоит...

Дан послушался. Зажмурился, крепко-накрепко стиснул веки, принялся считать:

— Один... два... три...

На счете «девять» женщина — некому больше! — резко потянула его за локоть в сторону от дерева, он не ожидал этого, чуть не потерял равновесие, но устоял, удержался на своих двоих, открыл глаза и машинально закончил:

— Десять!

К остановке бесшумно подплыл пустой троллейбус, похожий одновременно и на пароход и на аквариум, обдал водой из-под колес ствол липы, где только что стоял Дан и откуда женщина предусмотрительно увела его — все посуше будет.

— Пожалуйста, — сказала женщина, — заходите.

Как домой пригласила — гостеприимно и буднично, без всякой торжественности, и Дан — дурак дураком — вымолвил растерянно:

— Спасибо, — посадил женщину и сам влез.

— Единый, — сказала женщина громко, чтобы водитель услышал ее.

— Единый, — эхом подтвердил Дан.

— Предъявлять надо, граждане, — прохрипел над ними динамик. Предъявили. Сели рядышком — благо все места свободные.

— Вам далеко ехать? — спросил Дан.

— Не очень, — ответила женщина. — А вам?

— Мне до Самотеки.

Опять помолчали. Водитель исправно объявлял остановки, кто-то

входил и выходил, кто-то шумно смеялся на заднем сиденье, потом смех утих... Дан не следил за «троллейбусной» ночной жизнью, она текла как бы мимо него, не задевая, даже не очень-то обнаруживая себя.

— А что вы так поздно и одна? — спросил Дан, изумляясь собственной бестактности.

— Дела, — спокойно сказала женщина. — А вы что?

— Я в гостях был. У друзей. У них сыну три года стукнуло. Его зовут Антон.

— Друга?

— Нет, сына. А друга зовут Валерий Васильевич. А его жену зовут Инна. А его тещу, которая целыми днями сидит с Антоном, зовут Марфа Петровна.

— Редкое имя...

— Да уж... У меня тоже редкое имя. Знаете, какое?

— Какое?

— Даниил. А короче — Данила. А общеупотребительно — Дан.

Женщина внимательно оглядела Дана, изучающе оглядела.

— Что-нибудь не так? — спросил Дан.

— Вам, вероятно, лет тридцать?

— Попали в «десятку».

— Тогда все Сергеи да Андреи рождались, это сейчас мода на старые имена пошла.

— Папаны мой чурался моды, но не бежал от традиций. Сам он был Фрол, а дед — Гаврила, а прадед — опять Даниил.

— Значит, вы в прадеда...

— Вроде...

Тут бы спросить: а ее-то как зовут? Но Дан почему-то не решался задать этот невиннейший из вопросов, что-то удерживало его, а что — сам не ведал. Разговорился он как-то глупо, не к месту, да и не к желанию собеседницы. А какая она собеседница? Что ни спросишь — темнит, сама ни о чем не заговаривает, не интересуется, а он, между прочим, чуть ли не всю свою биографию выложил. А болтун, как известно, находка для шпиона.

Теперь уж он оглядел «шпиона», как она давеча его взглядом прошупала. Ничего особенного: одна из тысячи. Сняла мокрый платок, повесила его на никелированную трубку над передним сиденьем, расстегнула воротник синего — все-таки модного! — плаща. Волосы коротко стрижены — не черные и не светлые, так — серединка на половинку, самый распространенный сейчас колер. Глаза, правда, большие — карие, ресницы подкрашены, а веки не подведены: незачем глаза увеличивать, природа и без того расстаралась. Ну, рот, нос, щеки. Все в норме, ничего сверхъестественного, косметики минимум. Итог: обычное милостивое личико, которое потерялось бы в сонме подобных ему, если бы не глаза...

Да-а, глаза... А ведь было в них что-то «этакое» — там, на остановке, в дождливой темноте, что-то пугающе странное — не померещилось Дану, нечего душой кривить.

— Слушайте,— сказал он решительно,— можете ответить честно на честный вопрос?

— Ну, если на честный... — улыбнулась она, и Дан «дописал» к ее портрету улыбку — хорошую улыбку, мягкую, яркую.

— Откуда взялся троллейбус? Да еще на счет «десять»? Я ведь, прежде чем зажмуриться, поглядел: он и не маячил.

— Честно? — вроде бы раздумывала она. — Да не поверите вы.

— Чтоб мне лопнуть со страшным треском, — поклялся Дан.

— Просто я волшебница. Обыкновенная добрая волшебница.

— И все объяснение?

— И все объяснение.

Что ж, ясно: дурацкому интересу и удовлетворение дурацкое. Откуда взялся троллейбус? От верблюда! Дан его не заметил, а она углядела. Вот и все волшебство... А чувство юмора у нее на уровне, вполне пристойное. Стоит подыграть девушке, расстараться.

— Давно практикуете?

— В волшеббе? Да с детства, наверно.

— И больших высот достигли?

— Вряд ли. А потом, я ведь не всегда волшебство творить могу, а лишь для хорошего человека.

— Выходит, я хороший?

— По правде говоря, троллейбус и мне был нужен... Но вы, похоже, неплохой человек, Даниил Фролович.

— Откуда вы знаете? Может, я тать ночной? Может, я убил бабушку, обокрал банк и укрываюсь от десятерых жен с малыми детшками?

Не улыбнулась. Шутка не по ней.

— Вряд ли, Даниил Фролович.

— Ой, не величайте меня так торжественно. Я же назвался — Дан. Дан — и все тут, — теперь, пожалуй, его ничего не останавливало: — А ваше имя скажете или скроете?

— Чего ж скрывать? Олей меня зовут.

А вот здесь была ирония — чуть-чуть, самая малость — в этом простецком «чего ж скрывать». Дан чувствовал, что он никак не может поймать верный тон разговора. То она абсолютно искренна в своей ангельской наивности, то излишне серьезна, то иронична. Или милая девушка Оля все-таки дура, или она ловко морочит ему голову, что доказывает как раз обратное — искушенный ум. Дан не понимал ее, злился оттого, а отступать не хотел: задела она его чем-то. Может, троллейбусом на счет «десять», а может, глазами, сверкнувшими из-под платка — тогда, на остановке.

Казалось бы, чего проще: раскланяться и уйти в ночь, забыть

о происшествии, не морочить себе голову. Что у него, до этой Оли проколов не было? Были проколы, не всем женщинам он нравился, особенно попервоначалу. Чувствовал он их скрытое сопротивление — сопротивление разговору, даже вопросу какому-нибудь наипростейшему — и отступал, не лез напролом, да, впрочем, и не принадлежал он к счастливой категории мужиков-профессионалов, для кого любая женщина в первую очередь повод проверить свою «неотразимость». Дан трудно знакомился, даже если его знакомили специально, а такое случалось неоднократно: жены друзей не любят холостяков, ищут им незамужних подруг, конечно же, «безумно интересных». Было, было, хаживал он на смотрины, и не всегда, к слову, они оканчивались безрезультатно: монахом-схимником Дан себя не считал, а напротив, поглядывая иной раз в зеркало, видел там орла-гренадера — в отца, в деда, в прадеда, — и ростом бог не обидел, и прочими статями, и кое-какая голова на плечах имеется. Но в голове этой как раз тормозное устройство хорошо свинчено. Оно и подсказывает сейчас: притормози, Дан, не лезь вон из кожи. Что ты нашел в этой Оле?..

— Следующая остановка — Самотечная площадь, — захрипел динамик.

— Вам сходить, — быстро сказала Оля.

— Я вас провожу, — из вежливости, из вежливости: ты же — джентльмен, Дан.

— Ни в коем случае. Меня не надо провожать, я этого не люблю.

— Но, Оля...

— Мне от остановки — два шага. Ну, я вас прошу...

Дан встал. Он уже принял решение: попрощаться и уйти. Завтра — понедельник, тяжкий день, опять работа, репетиция с утра, нервотрепка в главке, надо выспаться и встать со свежей головой — по возможности. Итак, попрощаться и уйти...

— Жаль, Оля. Неужели так и не увидимся больше?

— Почему не увидимся? Я же волшебница, а волшебницы не бросают хороших людей.

Опять смеется? Кто ее разберет...

— Я могу вам позвонить?

— Лучше я вам. Скажите номер.

— Я запишу, — Дан мгновенно забыл о твердом решении «попрощаться и уйти», лихорадочно выхватил из кармана плаща записную книжку, вырвал листок, торопливо нацарапал — троллейбус качало — номер. — Возьмите. Я буду ждать.

Не оборачиваясь, он пробежал по пустому салону, выскочил на улицу — в ночь, в дождь, в ветер, остановился: мимо проплыл троллейбус-аквариум, за стеклом легко улыбалась Оля. И Дан заулыбался, так и стоял, улыбаясь, смотрел вслед аквариуму, даже дождя не замечал. А когда заметил, вытер лицо ладонью, сообразил: батюшки-святые, он же зонтик в троллейбусе оставил, хороший

японский складной зонтик, повесил его на спинку сиденья, обормот, заговорился и — забыл.

2

Дан сидел верхом на моноцикле и кидал пять шариков. Моноцикл по-русски — одноколенный велосипед, сооружение крайне неудобное, пожалуй, даже бессмысленное. Торчишь на узеньком седелке, ерзаешь на нем непрерывно, сучишь ногами на педальках, чтобы не упасть носом в пол, удерживать зыбкое равновесие. Правда, можно вовсе крутить педали и ехать по прямой или по кругу, расточать улыбки направо-налево, ликующим видом утверждая, что удовольствие от езды беспримерное. Так и должно поступать, коли ты артист цирка, коли ты выехал на манеж на одноколенном монстре, чтобы веселить почтеннейшую публику, чтобы — не дай бог! — не заставить ее помыслить, что тебе трудно, страшно или коломытно — нет, напротив, ты обязан показать, как ты ловок, умен, весел и легок, как прекрасно накатан твой моноцикл, как бойко ты кидаешь свои шарики, будто привязанные невидимыми нитями к твоим магнитным ладоням.

Дан считался в цирке неплохим жонглером — до недавних пор. Он работал салонный номер: трость, котелок, монокль, зажженная сигара, носовой платок, галстук-бабочка — все это летало у него вверх-вниз, эдак небрежно, как бы между прочим, а он — во фраке и штиблетах-лакишах, ресторанный лорд — ловил летучую дребедень руками, глазом, карманом — оттопыренным, естественно, и... ах, да, еще губами — сигару, и курил, пускал дым кольцами, левой рукой в белоснежной перчатке наклонял котелок, смотрел на зрителей сквозь простое стекло монокля, принимал аплодисменты. Парад-алле!

Однако надоело.

Однообразие надоело, собственный набриолиненный вид провинциального вампира, томного кумира офицерских супружниц, надоели летающие предметы туалета.

А если честно, Дан сам себя хорошим жонглером не считал, не верил себе. Многого, знал, ему не доставало. Куража циркового, когда каждое выступление как премьеры, как бенефис — это из артистического ряда сравнений, а коли взяться за общечеловеческий ряд — как первое свидание, как свадебная церемония, как первая брачная ночь, наконец! Короче, возвращаясь к суровой прозе, кураж — это постоянное волнение, постоянное напряжение, настроение вот такое: шагнешь и — полетел. А Дан не умел летать. Дан умел работать. Добротню, на совесть, профессионально, но без куража.

А еще терпения ему не хватало. Цирковой жонглер обязан быть стойком. Один классик сказал: «Талант — это терпение!» Другой дополнил: «Талант — это труд!» Задолго до них русский мужичок

придумал хитрую поговорку: про труд и терпение, которые все на свете одолеют. Похоже, мужичок тот знаком был с талантливым жонглером, однажды устал наблюдать за его многочасовой работой, а с устатку мудрую мысль афоризмом и выстроил.

Жонглер проснулся — кидает шарики или что там еще у него под рукой есть. Позавтракал — кидает. На репетицию пришел — естественно, кидает. Пообедал — кидает. Перед сном — кидает. Однажды Дан видел умилительную картину. Друг его Коля, жонглер от бога, один из лучших в мировом цирке, хлебал щи в цирковом буфете. В правой руке у него была ложка, перед глазами — опертые на солонку «Три мушкетера» бессмертного Дюма-отца, а левой он машинально бросал два теннисных мячика.

Два мячика одной рукой — игра для детей младшего возраста. — Зачем тебе эта морoka, Кот? — спросил его Дан, зашедший в буфет перехватить тех же щец. — Два мячика ничему не способствуют: ни добротному пищеварению, ни растущему мастерству. Кидай три, на худой конец...

Друг Коля словил свои мячи, оторвался от ложки и «Трех мушкетеров», сказал серьезно:

— Три не могу. Пока. В тарелку, гады, сыпятся. Люська, жена, лается: жирные пятна на рубахе, щи брызгаются.

Великий Цезарь умел одновременно писать, читать и разговаривать с подчиненными. Великий Коля умел одновременно обедать, читать Дюма и жонглировать. Третий мяч отвлекал его внимание либо от книги, либо от щей, но Коля никогда не останавливался на достигнутом.

Дан придет в манеж, покидает часа три, вспотеет до ребер:

— Привет, Кот, я — в душ.

А Коля работает в скоростном темпе с шестью булавами, хохочет, орет вслед:

— Слабачок, Дан. Делай, как я, — знаменитым станешь!

Дан не сумел стать знаменитым, как Коля. Терпения не хватило. Да и быстро приедалось ему одно и то же, потому и влез он теперь на моноцикл, решил попробовать себя в ином амплуа. Осел на репетиционном периоде в московской студии в Измайлово, потихоньку готовил новый номер.

— Легкой дорожки ищешь, — сказал ему бестактный Коля. — Сядешь на моноцикл — любую халтурку публика спустит. Как же, как же: на этом тычке и сидеть-то нескладно, а он — герой! — еще и кидает чегой-то. И ловит иногда.

— А если я всегда ловить буду?

— Вре-ошь, Данила, кому баки расчесываешь? Нет жонглера, который бы не сыпал. Ты сколь кидать станешь?

— Пять-шесть.

— Булавы?

— Булавы, кольца, мячи.

— Не размазывай картинку, Данила, оставь три булавы, да только работай, как на земле, чтоб их видно не было, чтоб они вихрем летали, чтоб дурак-зритель забыл про твой оселок под задницей. Идею уловил?

Идею Дан уловил, неплохой казалась идея. Три булавы Дан кидал почти виртуозно, в хорошем темпе, с двух рук, каскадом, из-за спины, из-под ноги — как угодно! — и темп, темп, темп. Правда, если стоял на одном месте. Начинал двигаться по манежу — темп терялся, и объяснить сей феномен Дан не мог. Казалось бы, все наоборот должно выйти, ан нет, не получалось. А что на моноцикле будет? Пока на нем прочно сидеть наостришься — сто мозолей на заднице набьешь. Ну и что особенного? Сколь ни набил — все его, зато сидит «на палочке верхом» как влитой. И кидает, кидает — пока терпения хватает.

С утра хватало. Час раскидывался, весь взмок.

Тиль сказал:

— Передохни, бедолага.

Дан согласился. Он вообще легко соглашался отдохнуть, а тут режиссер номера лично грех отпустил.

— Плохо у тебя пять идут, — сказал Тиль.

— Без тебя знаю, — огрызнулся Дан.

Дан не Коля и тем более не Цезарь. Он не умел делать два сложных дела вместе: сидеть и кидать пять предметов.

— Три я освоил в самый цвет.

— Три — мало, — лениво протянул Тиль, оглядел с пристрастием свои руки — холеные длиннопалые ладони, ногти ухожены, на безымянном пальце правой — перстень с агатом. А в серединке агата — жемчужинка белой каплей. Любил себя Тиль, холил и нежил, чистил-блистил, даже нервничать себе не разрешал. — Три — фуфло.

Сказал и — точка. Объяснять — тратить нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются. Тиль никогда их не тратил, даже в те былинные времена, когда трудился партерным акробатом, вскакивал «верхним» в колонну из четырех. Дан тогда еще не родился, наверно. И никто не родился. Как никто и не ведал, сколько лет Тилю. Может, шестьдесят, а может, все сто. Агасфер.

Кстати, почему он Тиль? В смысле Уленшпигель? На взгляд Дана, ничего общего: юмора ни на грош; воинственности никакой. Правду он искать не любит, считает, что она, правда его разлюбезная, сама явится, когда пора подоспеет. Да и какая Тилю правда нужна? Тихая, ровненькая, чтоб не тревожила, не будоражила, не выводила его из устойчивого равновесия.

Ходит слух, что Тиль — фамилия. Дескать, он француз, голландец или итальянец, чьи щуры и прашуры прибыли в Россию в скрипучей повозке Мельпомены, а потом как-то отстали от нее, осели на русской

ниве, натурализовались. Давным-давно, говорят, это случилось. При царе Горохе.

Но коли Тиль — фамилия, то что за имя-отчество он носит? Этого Дан тоже не ведал. Всегда Тиль был только Тилем и никем больше, и все в цирке — от мала до велика, от заштатного униформиста до народного артиста — называли его именно так и только на «ты». И он всех на «ты» величал. От народного артиста до заштатного униформиста.

Сейчас он сидел в манеже у барьера на складном рыболовном стульчике, который всегда носил с собой в портфеле (о портфель Тиля! ему надо петь особые саги — его древности и вместительности, где с незапамятных времен умещались сценарии вперемежку с термосом и бутербродами, складной стул и складной зонт, антикварные книги и полный маникюрный набор, коему завидовало не одно поколение цирковых див!), сидел он преспокойненько, вытянув худые ножки, и брюки его являли собой идеал утюжки, а черные полуботиночки сверкали зеркальной ясностью, несмотря на дождь и грязь. Впрочем, ясность эта удивляла менее всего: Тиль носил калоши — это во второй половине двадцатого века! — и они аккуратнейшим образом примостились возле алюминиевой ножки стульчика.

— Кстати, Данчик, — сказал Тиль, вынимая из нагрудного кармана пилочку для ногтей и проводя ею по отполированному ноготку на мизинце: что-то там его не устроило, какую-либо шероховатость обнаружил его придирчивый глаз: — Тебе некая шантретка звонила.

Дан слез с моноцикла, сел на барьер, массировал запястья, слушал Тиля вполуха.

— С чего ты взял, что шантретка? И почему шантретка, а не шатенка?

— Милый Данчик, отвечаю по мере поступления вопросов. Ответ первый: по голосу, голос у нее был шантретистый. Ответ второй: так куртуазнее. Ты грубый и некультурный человек, Данчик, и поэтому плохо кидаешь пять шариков — нет в тебе легкости, воздушности, нет и не появится. Она дается лишь тонко чувствующим натурам.

— Как ты?

— Именно, мон шер. И поэтому я позволил себе спросить у шантретки ее позывные, ибо не хотел тебя волновать, заставлять думать о том, кто бы это мог тебе звякнуть. У нее прекрасное имя, Данчик, тебе крупно подфартило: ее зовут Олей. Вслушайся: О-ля! Поэма экстаза, Данчик, поверь старому Тилю.

Оля? Какая Оля?.. Дан в первую секунду даже не сообразил, что это может быть вчерашняя троллейбусная волшебница, а когда понял, что это она, никто иной, она одна — Оля, то вскочил с барьера, рванул

к выходу и... притормозил: куда бежать-то? Телефона ее он не ведает, связь, как говорится, односторонняя.

— Когда звонила?

— Час назад. Ты только-только на моноцикл сел. А я мимо аппарата шел и трубочку у вахтера перехватил.

— Что ж ты меня не позвал, старая перечница?

— Во-первых, я не старая перечница, а твой режиссер,— Тиль покончил с мизинцем и спрятал пилку в карман. Он не обижался на Дана и ни на кого никогда не обижался, возможно, потому, что берег свои драгоценные нервы, да и сам-то он лишь внешне выглядел велеречивым и куртуазным, а то иной раз так обзовет — привычные ко всему цирковые дамы уши затыкают. И все, заметьте, спокойненько, на пониженных тонах — вроде и не оскорбил.— И если ты, Данчик, бездарь непроходимая, будешь на меня поганые охулки класть, всю жизнь на репетиционном просидишь. Поверь старому Тиле.

Старому Тиле верить стоило.

— Извини, Тиль, погорячился,— сказал Дан.— И все-таки, почему не позвал меня к телефону?

— Потому что видел: работаешь. И вроде с желанием — редкий случай. Не стал отрывать, а вежливенько попросил Олю перезвонить через час. Она у тебя точна?

— Не знаю,— сказал Дан,— не было повода проверить.

И в это время, как в детективе или — наоборот — в добротной комедии ситуаций, в зал заглянул вахтер:

— Даниил Фролыч, к телефону вас.

Дан перемахнул через барьер, побежал к дверям. Осторожно, будто боясь уронить, взял трубку, произнес в нее «казенным» голосом:

— Слушаю вас.

— Здравствуйте, Дан,— «шантретисто» сказала трубка,— это Оля, если вы меня помните.

Классическая форма пустой вежливости!

— Я вас помню, Оля.

— А мне показалось, у вас плохая память.

— Почему?

— А зонтик?

Тут у Дана сам по себе придумался гениальный — на его взгляд — ход.

— Я его нарочно оставил.

— Нарочно?

— Конечно. Просто так вы могли бы и не позвонить, а замотать чужой зонтик совесть не позволила бы.

Засмеялась. Интересно, что бы сказал Тиль про ее смех? Какого он колера?

— Убедили. Как мне его отдать вам?

— Что за вопрос? Только лично. Что вы делаете сегодня вечером? — Краем глаза он глянул на вахтера, который изо всех сил старался выглядеть индифферентным. А может, и впрямь начхать ему было на галантные потуги какого-то жонглера: сколько при нем по этому выдавшему виды, со всех боков скотчем уклеенному телефонному аппарату свиданий назначено — не перечесть. Надоело, небось, вахтеру: целый день одно и то же...

— Я свободна.

Как прекрасно проста она, подумал Дан. Никакого притворства, никакого жеманства: мол, не знаю еще, столько замыслов, надо подождать, посмотреть в записную книжку...

— Тогда я вас встречу там же, на Самотеке, на остановке. Ну, где я сошел, ладно?

— Ладно. Я освобожусь в шесть.

— Значит, в полседьмого?

— Я успею.

— До вечера.

— До свидания.

Короткие гудки — ту-ту-ту. Положила трубку. Дан немного послушал их и тоже уложил трубку на рычаг.

Тиль сидел на стульчике в той же позе рыболова-сибарита, только вместо пруда перед ним расстился грязно-малиновый ковер репетиционного манежа. На манеже сиротливо лежал брошенный Даном хромированный моноцикл.

— Поговорил? — спросил Тиль.

— Поговорил.

— Приступай к делу.

— Мне в главк надо, — попробовал отвертеться Дан.

— В главк тебе надо к двум. А сейчас, — он вытащил из жилетного кармана плоские серебряные часы, щелкнул крышкой, — сейчас, шер Данчик, только десять минут двенадцатого. И тебе придется попотеть как минимум один час и пятьдесят минут. Поверь старому Тиллю.

Что делать? Пришлось поверить...

3

А потом, как в священном писании, был вечер и было утро. Утро пасмурное, серое, брезентовое, как штаны пожарника (откуда шутка?), штрихованное дождем висело за немытым стеклом окна, тоскливое длинное утро, вызывающее головные боли, приступы гипертонии и черной меланхолии, а по-научному — нервной депрессии.

Но все это у иных, здоровьем обиженных. Давление у Дана держалось младенческое, головными болями не страдал, а черная меланхолия выражалась всегда однозначно: не хотел идти на репетицию.

Лежал под одеялом, тянул время, оглядывал небогатое свое однокомнатное хозяйство.

Оля спросила вчера вечером:

— Вы часто уезжаете из Москвы?

Ответил, привычно не задумываясь:

— Частенько... — Но полюбопытствовал все же: — Как вы догадались?

— Заметила. Жилье выдает. Когда в нем мало живут, оно как вымораживается, застывает. Вроде все чисто, все на месте, а холодно.

Точное наблюдение! Дан замечал это и в своей квартире, когда возвращался с гастролей, и в квартирах друзей — элегантных, обустроенных с пола до потолка, с дорогой мебелью и блестящими люстрами, с натертым паркетом и звенящим хрусталем за толстыми стеклами горок. Почему-то артисты цирка из всей «выставочной» посуды предпочитают именно хрусталь. Может быть, потому, что он так же холоден, как и их пустующие квартиры?..

Впрочем, он-то сам кантуется дома уже четвертый месяц...

Оля сказала:

— Кантуетесь? — усмехнулась. — Пожалуй, точно так. Не живете — ночуете...

Все верно. С утра пораньше — студия, Тиль, булавы, моноцикл. Потом — мастерские, где шьют новый костюм для нового (будет ли он?) номера. Потом — обязательно! — главк, где вроде и нет для тебя никаких срочных дел, но быть там необходимо, вариться в кислом соку цирковых сплетен, разговоров, предположений, замыслов и домыслов: кто где гастрوليрует? кто куда едет? у кого номер пошел, а кто аттракцион «залудил»? кто женился? кто развелся? кто сошелся? где? когда? как? с кем? почему? у кого — тысяча пустых сведений. Клуб, а не учреждение... И ведь тянет, ежедневно тянет, как будто не пойдешь — что-то потеряешь, чего-то не выяснишь, не вернешь наиважнейшего, наиглавнейшего.

А вечером гости. Или ты у них, или они у тебя — «дежурства» за полночь, в столице, как на гастролях, в цирковых гардеробных или в гостиничных номерах после вечернего представления, и те же разговоры, те же вопросы-ответы, сотни раз жеванные-пережеванные, переваренные, за день обрыдлие. Дану в Москве полегче: у него есть друзья вне цирка, а стало быть, вне профессиональных интересов. Можно хоть душу отвести, на вечер забыть о гипнозе манежа. И только перед сном выкраиваешь время почитать. Сколько его остается? Кот наплакал, а зверь этот скуп на слезы. Стопка журналов, регулярно покупаемых в киоске «Союзпечати» (знакомая киоскерша оставляет всю «толстую» периодику), лежит непрочитанная, потому что на сон грядущий вытягиваешь с полки знакомое, читанное-перечитанное, привычное, успокаивающее и — вот парадокс! — всегда волнующее. А периодику Дан на гастролях «добирает»:

свою библиотеку в артистической кофр не сунешь: и места мало и книги жаль — что-то с ними дорога содеет!

Согласился тогда с девушкой Олей, троллейбусной провидицей, не без грусти согласился, даже с обидой на провидицу: все-то она ведает, все подмечает, компьютер — не человек.

— Вы правы, Оля, все у меня в квартире полудохлое.

А она возьми да скажи — обиженным в утешение, скорбящим на радость:

— Не все. Книги живые. Видно, что их читают и ценят. Вы кто по профессии?

Выигрышный для Дана вопрос.

— Цирковой артист. Жонглер.

Тут обычно девицы-красавицы, душеньки-подруженьки должны ахнуть, ручками всплеснуть: как интересно! сколько романтики! цирк — это вечный праздник! И посыплются вопросы один другого глупее: в каких странах побывали? сколько циркачам платят? правда ли, что они ежедневно рискуют смертельно? Это Дан-то рискует, с его булавами и кольцами... Хотя риск, конечно, имеется: брякнешься с моноцикла, не успеешь собраться, придешь на ковер неудачно — можно, например, и руку сломать...

А обычного не случилось. Оля не ахнула, не всплеснула руками, глупых вопросов не задавала. Она лишь кивнула согласно, приняла к сведению информацию, но увидел Дан — или почудилось ему? — в мимолетном косом взгляде ее, даже не взгляде — промельке, секундное удивление. Увидел Дан и растолковал его по-своему: как так — жонглер и книги читает! Быть того не может! Серый, лапотный, со свиным-то рылом...

Что, в сущности, происходило? Дан чувствовал глухое раздражение против Оли, даже не раздражение, а какое-то внутреннее сопротивление тому явному чувству симпатии, которое она вызвала к жизни и которое все еще жило в нем, — непонятное чувство, ничем не объяснимое, не подкрепленное. Но сам же анализировал, работала где-то в мозгу счетная машинка: а зачем сопротивляться? Что она плохого сказала? Ничего... А взгляд? Почудилось Дану, настороженному, как зверь перед дрессировщиком. Странное дело: когда Дан попадал в чужую компанию, где собирались люди от цирка далекие, он всегда так настораживался, собирался внутренне, словно ощущал некую неполноценность перед всякими там физиками-лириками. Потом она, конечно, проходила, неполноценность его распрекрасная, а поначалу... Ах, как он завидовал в такие минуты другу Коле, который не страдал никакими «интеллигентскими комплексами», уверенному и сильному Коле, чей внутренний мир не поколебать никакими косыми взглядами, — крепость, а не мир. Коля угнездится за столом, пойдет анекдотами сыпать, а то ухватит пяток тарелок со стола, начнет жонглировать к ужасу хозяйки — знай наших! — сорвет

аплодисменты, привычные для него, как щи в буфете, и вот уже физики-лирики ему в рот смотрят, слушают, развесив уши, как он в Америке с миллионершами сухой мартини на спор хлебал, а где-нибудь в Австралии метал бумеранг «по-классному» на зависть аборигенам.

— Я для них кто? — спрашивал он. — Человек из другого мира. Чей мир лучше? Ясное дело, мой. Вот я им про то и толкую по силе возможностей...

Что и говорить, силы у Коли навалом. Дану бы хоть малую толику ее...

А Оля будто подслушала мысли Дана. Спросила, как объяснила давешний взгляд:

— Может, вы тоже волшебник?

— Это как?

— Когда вы ухитрились такую библиотеку собрать?

Сказала и — бальзам на душу. Нет, милый Дан, псих ты ненормальный, закомплексованный, пора тебе путевочку в институт имени доктора Ганушкина выколачивать — в отделение пограничных состояний, где такие же нервные полудурки в байковых пижамах фланируют, седуксен лопают и боржомом заливают. Вопрос-то Олин законный, и удивление вполне объяснимое.

— По городам и весям подбираю. Книжные магазины везде есть, а в них работают тети, у которых детишки цирком болеют.

Посмеялась. Прошлась мимо стеллажей, провела кончиками пальцев по корешкам книг — как поласкала. Обернулась:

— Хочется мне вам приятное сделать.

Это уже интересно.

— Что именно?

— Существует книга, о которой вы мечтаете?

Нелепый вопрос: таких книг десятки. Хотя, впрочем...

— Есть такая...

— Зайдите завтра в Дом книги.

— И что будет?

— Что-нибудь да будет.

Теперь Дан посмеялся — из вежливости: честно говоря, шутки не понял, сложно шутит девушка Оля, не осилить бедному жонглеру...

...А между тем пора вставать, пора делать зарядку, пора открывать настежь окно, впускать в полутемную комнату холодное и сырое утро. Ох-ох-ох, грехи наши тяжкие, будь проклят тот, кто придумал скрежещащее железом слово «режим»!

Однако встал, сделал, открыл, впустил. Умылся, яичницу поджарил. Что за жизнь: вечером яичница, утром яичница. Друг Коля советовал:

— Женись, Дан, непременно женись, но возьми кого из кулинарного техникума с обеденным уклоном. И лучше всего сироту

детдомовскую. Она на тебя молиться будет, пылинки сдувать, а уж отъешься...

Люська, Колина жена, готовит распрекрасно, но есть у нее стальная старушка мама, с которой Коля находится «в состоянии войны Алой и Белой Розы». Так он сам говорит, пользуясь полужабытыми школьными знаниями.

А яичница — вершина кулинарной мысли Дана. Вчера посреди разговора он вдруг спохватился:

— Вы же с работы. Голодны, небось?

Она засмеялась:

— Как зверь!

— Я сейчас приготовлю. Только, кроме яиц, у меня ничего нет... — Как будто объявись у него мясо, так он немедленно жаркое или бифштекс сотворит!

Но Оля не ломалась.

— Обожаю яичницу. Жарьте. Когда-нибудь потом я приду пораньше и наготовлю всякой вкуснятины.

Прекрасная перспектива! Дан, грешный, любил «всякую вкуснятинку», да и намек Оли на «потом» — что-нибудь он да стоит?

Ели прямо из сковороды — горячую, потрескивающую, плюющуюся желтым маслом, звонко хрустели редиской — еще пустотелой, весенней, привезенной на московские рынки веселыми и наглыми усаками-южанами, запивали малость подкисшим «Мукузани», обнаруженным в холодильнике, хотя по всем известным Дану светским правилам красное вино никак не подходило к их нехитрой еде. Да и какая разница — подходило или нет? — если лопать хотелось невероятно, вопреки здравому смыслу. Ну, с Олей все понятно, она только-только с работы, обедала давно, но Дан-то всего за час до свидания покинул уютную харчевню неподалеку от циркового главка, где, кажется, отъелся за весь день маеты и беготни. А может, чувство голода — штука заразная? Или волшебница Оля способна испускать неизвестные науке флюиды, которые заставляют Дана чувствовать то же, что и она, хотеть того же, что и она?

Волшебница... Редкая по нынешним временам профессия. Далекие средние века, время расцвета волшбы и колдовства, тем не менее привели к захирению эту могущественную профессиональную касту. Одна святейшая инквизиция отменно постаралась и преуспела в том. Но вот явилась все же одна — из ныне вымерших, пробует свое забытое могущество на обыкновенном советском жонглере. Получается? Чегой-то не шибко...

Вспомнил еще: выходили из дому, провожал он ее до троллейбусной остановки, спросил — скорее, из вежливости, чем по осознанному желанию — о следующей встрече. Получил лаконичный ответ:

— Созвонимся.

— Когда? — привычка требовала настойчивости.

— Завтра или послезавтра.
— Жаль, что дома нет телефона: сидел бы и ждал звонка, никуда б не ходил, шею не мыл бы...

— Шею — это ужасно... А что, не ставят телефон?

— Обещают.

— Обещанного три года ждут, помните?

Прикинул в уме, засмеялся:

— Как раз три года и минуло.

— Значит, поставят.

— Когда?

— Завтра или послезавтра.

Однообразна девушка Оля, второй раз по шаблону отвечает.

— Хотел бы поверить.

— А вы верьте мне. Я же волшебница!

Да какая, к черту, волшебница! Брился в ванной, жужжал «Харьковом», анализировал от нечего делать. Кто она — Оля? Ответ: никто. Не знает он о ней ничегошеньки: ни профессии (если не считать волшебства), ни адреса, ни отчества, ни фамилии. Если по анкете: ни возраста, ни семейного положения, ни национальности, ни отношения к воинской службе. Хотя последнее и знать ни к чему. А характер? Ответ: никакой. Не обнаружил он в ней характера, не проявилась она ни в чем. Интересы? Неизвестно. Привычки? Тайна. Привязанности? Мгла. Вот яичницу ела, да еще намекнула, будто готовить может. Волшебница-кулинар, по совместительству на полставки. Ну, к книгам с пиететом относится — уже приятно. А еще что? Ответ: ничего боле. Этакое среднестатистическое неизвестное в юбке. Среднехорошенькая, среднеговорливая, средневеселая, среднебойкая. А может, и впрямь она из средних веков?..

Итак, средняя.

Выключил бритву, побрызгал физиономию лосьоном, поглядел на себя в зеркало: мужик как мужик, казак степной, орел лихой. Или наоборот, не припомнить. Коля скажет:

— Таких как мы — два на мульен. Цени себя, старый, по мелочам не разменивайся.

4

Жил Дан на Октябрьской улице неподалеку от архитектурно-знаменитого театра, являющего в плане — с высоты, для любознательных птиц — пятиконечную звезду. Четырнадцатизэтажное обиталище Дана, наоборот, выглядело архитектурно-тоскливым: блочная спичечная коробка с грязно-белыми карманами лоджий. Тусклая — пятнадцатисвечовая, наиболее экономичная! — лампочка-лампадка у лифтов, узковатые короткие пролеты лестницы с лирическими

признаниями на стенах, писанными школьными цветными мелками, третий этаж, обитая серым дерматином дверь с цифрой «21» — «очко», как говаривал Дан своим знакомым.

Поспешая в студию, Дан по привычке сунул на бегу палец в круглую дырочку почтового ящика — нет ли чего? — и нащупал какую-то бумажку. Притормозил, пошуровал ключиком, достал открытку. Районный телефонный узел уведомлял тов. Шереметьева Д. Ф., то есть Дана, Даниила Фроловича, что ему разрешена установка телефона и что ему, то есть тов. Шереметьеву Д. Ф., надлежит зайти на вышеупомянутый узел и уплатить кровные за вышеупомянутую установку. И внизу — шариковой ручкой — номер его будущего телефона. Слов нет, какой замечательный номер!

Впрочем, Дану сейчас любой номер показался бы наизамечательнейшим: уж очень он обрадовался. Прямо-таки возликовал! Сколько ходил «по инстанциям», все без толку: нет возможности, отвечали «инстанции», каналы перегружены, вот построим новую АТС, тогда... А когда «тогда»? Дан и надеяться перестал, а тут на тебе: апрельский сюрприз. Нет, братцы, есть справедливость на белом свете и торжествует она вопреки неверию отчаявшихся!

Естественно, Дан немедленно припомнил вчерашний разговор с Олей. Она-то откуда узнала про открытку? Видела почтальона? В пятнадцатисвечевой мгле углядела в ящике «что-то белеющееся»? Да вздор, вздор, она даже номера его квартиры не ведала, пока Дан не подвел ее к серой двери с «карточной» цифрой на косяке!

Шальная мысль: а вдруг она прежде, чем на свидание заявиться, все про него разузнала, всю подноготную?

Мысль сколь шальная, столь идиотская. Где разузнала? В отделе кадров главка? В правлении ЖСК? В отделении милиции? Чуть собачья!.. И, конечно, не преминула звякнуть на АТС, выяснить про телефон: когда поставят да какой номер определят. Это уже не фантастика и не мистика, а просто бред, некий род мании преследования, коей Дан до сих пор не страдал, не было тому примеров. А сейчас появились? А сейчас появились. Инфернальная дева-вамп преследует бедного циркача по заданию разведки — ну, скажем, парагвайской. Они хотят выведать государственный секрет равновесия моноцикла под тощим задом Шереметьева Д. Ф. Ужас, ужас!..

На телефонном узле, как сказано в открытке, будущих абонентов принимают после пятнадцати ноль-ноль, так что репетицию Дан не пропустит, не станет огорчать «старого Тиля», покидает свои пять булав, тем более настроение отменное. Друг Коля твердо считал, что качество работы прямо пропорционально настроению.

— Ежели мне хорошо, — говорил он, — я тебе ни одного завала не сделаю, номерок отдуплю — публика слезами умоется. От счастья и восхищения. А коли на душе паскудно, считай — завалы пойдут, начнешь «сыпать» на ковер.

— Что-то редко «сыплешь», — замечал Дан. — Всегда в настроении?

— А то! Как юный пионер.

— А если с Люськой перед работой полаялся? Не бывает такого?

С подначкой вопрос. Люська — баба вздорная, крикливая, что не по ней — тут же посудой швыряется. А Коля сидит, потолок разглядывает, на «летающие объекты» ноль внимания, ждет: покидает Люська посуду, успокоится, еще и прощения попросит за вспыльчивость. Но несмотря на быстрое примирение, должна ссора на настроение влиять? Особенно, если она перед выходом на манеж. Не каменный же Коля, в конце концов!

— Люська — актриска. Своими воплями она дает мне заряд бодрости. Я ее иной раз сам провоцирую: пусть покидается, посуды не жалко. Ей бы в театр, какую-нибудь там Макбетшу изображать. Эмоций-то сколько! А она со мной мотается, борщи мне варит, портки стирает. Должна быть у нее отдушину или нет? Ты скажи, скажи.

— Должна.

— То-то и оно. Я ей и приоткрываю отдушину. А сам радуюсь, какой я благородный, и работаю без завалов. Идею уловил?

Идею Дан уловил и в хорошее настроение верил свято. И вера в его работе находила доброе подтверждение: «сыпалось» и впрямь меньше. Но все-таки «сыпал» Дан, ронял на ковер булавы или кольца, потому что далеко ему было до Коли — не до его сомнительного умения «настроение поднять», а до таланта его. Ничего удивительно: Коля в цирке один, а таких жонглеров, как Дан, — пруд пруди.

И все же пять булав нынче пошли у Дана плоховато. Когда следил за ними, чуть рот не открывал от усердия — идет рисунок, траектория полета ровная, красивая, ловить поспевал.

Тиль пошептал:

— Темп, Данчик, темп, спишь на ходу.

Увеличил темп — падают булавы.

— Давай четыре, — сердито сказал Тиль.

С четырьмя все в порядке. Дан взвинтил темп, замелькали в воздухе деревянные, оклеенные блестками бутылочки-кегли, веером встали над задранной горé головой жонглера.

Тиль спросил:

— Ты чего на них уставился? Давно не видел? Смотри на меня, Данчик, любуйся моей красотой и элегантностью, а булавы пусть сами летают.

— А чего на тебя смотреть, Тиль? — Дан обрадовался передышке, поймал булавы, прижал к груди, закачался взад-вперед на своем шестке. — Эстетическое удовольствие нулевое.

— Как сказать, Данчик, как посмотреть... — Тон у Тили философски-раздумчивый, будто вспоминал он тех, кто глядел на него лет сто назад, захлебываясь от счастья. А может, и сейчас захлебывается:

любовь, как известно, зла. Зла-то она зла, считал Дан, но не свирепа же, не безжалостна... А Тиль как подслушал поганую мыслишку ученика, заявил не без сарказма: — Одно тебе скажу, Данчик, из любви к тебе скажу, не скрою. На меня поглядишь: сидит благообразный пожилой гражданин, улыбается приятно, все у него чисто, аккуратно, пристойно — глаз отдыхает. А на тебя взгляни: рот открыт, из ноздрей — пар идет, прямо дракон одноколесный, руками машешь, а все без толку.

— Ну уж и без толку, — сказал Дан, вроде равнодушно сказал, но кольнули его слова благообразного гражданина. — Что я, хуже других?

— Не хуже, — возликовал Тиль. — Такая же серятинка. — И вдруг спросил: — Хочешь, я тебя завтра на комиссию выпущу? Схожу в главк, сообщу о том, что номер склеен, работаешь ты на уровне. Мне поверят...

— А как увидят?..

— А что увидят? Провинциальный номерок, радость директора шапито. Дадут третью категорию и катись на своем моноцикле в какой-нибудь Краснококшайск, народ на базарах веселить. Надоел ты мне, Данчик, до зла горя...

Не впервые они такие разговоры разговаривали, привык Дан к недоброму языку Тили, и хоть обижался на него, но виду не казал. И сейчас лениво ответил:

— Не хочу в Краснококшайск.

— А тогда работай! — рявкнул Тиль, и было это так непохоже на всегда спокойного гномика, что Дан испугался. Испугался и понял: шутки кончились, терпение у старика истощилось, есть и ему предел, оказывается.

Можно было бы, конечно, плюнуть на Тиль, отказаться от его помощи, дотянуть номер самому или — если уж без режиссера главк не разрешит — подключить для проформы друга Колю. Тот вмешиваться в работу не станет, ему все до фонаря, у него одна присказка: «Кидай да лови». Кидай да лови, пока не посинеешь, а коли не хочешь — дело твое, сам дурак, сам расхлебывай. Где тут акт о сдаче номера? — великий жонглер для друга автографа не пожалеет, во всех трех экземплярах распишется.

Можно было бы так сделать, но у Дана и в мыслях похожего не возникло. Во-первых, плюнуть на Тиль — себе навредить: у гнома язык длинный, мало ли чего он по начальству понесет — век на репетиционном проторчишь. Во-вторых, советчик Тиль — дай бог, технику жонглирования досконально изучил, хотя Дан никогда не видел, чтобы Тиль взял в руки булавы или мячики. И просто технику знает, разбирается в «железе» — откуда? — но такой аппарат для финального трюка сочинил, сам чертежи сделал, что, применяя Колину терминологию, «публика слезами умоется». Да и вообще,

голова у него варит, спору нет. А в-третьих, Дан был ленив — все верно, но вовсе не глуп, прекрасно понимал, что хороший номер лучше среднего, и умел, когда хотелось, преодолеть проклятую лень ума, мышц — чего там еще.

Подобрал с ковра пятую булаву, молча отъехал от Тиля, назло тому стиснул зубы и начал кидать. Долго кидал, час уж точно, без передыху, сто потов спустил, ни рук не чувствовал, ни задницы — и то и другое отбил начисто, но не сдавался, рта не раскрывал: Тиль молчит, и мы вякать не будем. Вроде что-то получаться стало.

Краем глаза углядел: Тиль калоши натянул, стульчик сложил и в портфель спрятал. Куда собрался?

— Данчик, уже без четверти два натикало, — спокойно так сообщил, будто и не кричал недавно. — Пора на покой.

— Ты иди, Тиль, я еще покидаю.

— Покидай, Данчик, покидай, дело хорошее, только руки не перетруди, они тебе и завтра понадобятся. — Перешагнул через барьер манежа, вернее, перелез, как росток его крохотный позволил, пошел к выходу, но не утерпел, обернулся: — Можешь ведь, лодырь несчастный, если захочешь. Кнута на тебя нет... — И скрылся за дверью.

Слова его были приятны Дану. Он и сам ощущал себя молодцом и умницей. Однако послушался Тиля, «руки перетруждать» не стал, да и в зал уже заглядывали партерные акробаты из группы Лосева, тоже здесь на репетиционном периоде сидят, вслух ничего не говорили, но вроде бы намекали: пора и освободить манеж, наше время подходит.

Освободил, не противился. Постоял под горячим душем, смывая не столько пот, сколько усталость. Давно заметил: очень горячий сильный напор воды взбадривает его, снимает напряжение с мышц, и хотя болят они, перетруженные, но уже и жить вроде хочется и легкость появляется — чудеса! Как-то работал в Новосибирске, тоже весной, труба там лопнула, пока чинили-заваривали, три дня горячей воды не было. Так три дня разбитым и ходил, как работал — вспоминать тошно. А Коля, наоборот, холодный душ предпочитает, прямо ледяной, верит в него, бугай здоровый, как в панацею. Причуды человеческого организма...

На телефонном узле Дан управился скоро: очереди там не было, скусающая девушка приняла деньги, выписала разные квитанции, послала на склад. Там Дан получил мышиного цвета аппарат с электрической лампочкой под стеклом на передней панели: когда звонит, значит, лампочка и загорается. Договорился — тут уж он на обаяние телефонную барышню взял, на обаяние плюс контрамарка на две персоны в цирк на вечернее представление, — что мастер к нему прямо сегодня и явится. С семнадцати ноль-ноль его ожидать.

До семнадцати ноль-ноль оставался час с лишним. Полученная

утром зарплата отягощала карман, и Дан решил подскочить в букинистический отдел Дома книги, где имелась у него знакомая девица, большая любительница нетленного циркового искусства. Поймал такси, поехал.

Едучи, вспоминал Олино обещание про Дом книги, посмеивался про себя, а между тем точила его малюсенькая надежда на то, что чудо не обманет, ждет его там книга желаемая, заветная, мечта коллекционера, давно, впрочем, заказанная той девице. Нет, он не верил в то, что наличие книги объяснится Олиным обещанием. При чем здесь она? Да и не знала Оля, какой раритет ловит он по букинистическим магазинам, сказала просто так, ради шутки. Нет ничего легче, чем обещать несбыточное, от тебя не зависящее.

«Ах, я так мечтаю встретить человека, который во всем поймет меня!..»

«Милая, верьте мне — я волшебник! — вы встретите его и очень скоро...»

Разве сам Дан с игривой легкостью не представлялся волшебником: с него не убудет, а даме приятно, хотя она ни на секунду Дану не верит, понимает, что все это игра, и охотно играет в нее, потому что Дан ей нравится, и она вообще-то надеется, что он и есть тот самый человек, «который во всем поймет». Было такое, старый ловелас? Было, чего греха таить...

Девица из Дома книги Дану заулыбалась, подмигнула заговорщицки и выложила на прилавок — вот радость-то! — красный с золотом томик «Седой старины Москвы» — отличный путеводитель по городу, выпущенный издательством Морозова аж в 1893 году. Дан много лет собирал старые путеводители, а московские особенно, любил ветхие карты и городские планы, а за этим морозовским изданием гонялся давно: видел его в одном доме и возжелал иметь непременно.

— Вчера один старичок сдал, — доверительно сообщила девица. — Вы на состояние взгляните: как новенькая!

Книга и вправду гляделась новой, будто неведомый Дану старичок почти не открывал ее, держал на полке, нечитанную, с конца прошлого века.

— Берете?

— Вопрос! — Дан, боясь, что за эти минуты книга исчезнет с прилавка, а то и вовсе в воздухе растворится, пулей помчался в кассу, вручил девице чек, уложил в чемоданчик заветный томик и несколько ошарашенный вышел на улицу.

Радость бестелефонного жильца, которому наконец-то ставят аппарат, объяснять вряд ли нужно: она близка и понятна любому человеку. Но стоит поверить, что радость истового коллекционера-книжника, обретшего давно желаемую книгу, ничуть не меньше. Две радости в один день — не много ли для одного? Дан считал, что не много, в самый цвет. Пора было спешить домой, чтобы достойно завершить телефонную эпопею: вот-вот заявится мастер.

Одно только омрачало хорошее настроение: обе радости были предсказаны Олей, среднестатистической Кассандрой из ночного троллейбуса. Да, она могла пообещать Дану телефон просто так, из приязни, ради красного словца. Но ведь телефон-то ставят... Да, она могла напророчить удачный визит в Дом книги — чего ей стоит, вежливой женщине, и Дан своего желания от нее не скрыл. Но ведь визит-то и вправду удачный...

Конечно, ни в какой «кассандризм» Дан не верил. Вспомнил день пятилетней давности, когда у друга Коли дочь Машка родилась, дали ему звание заслуженного артиста и по лотерее выиграл он стиральную машину, впоследствии получив выигрыш наличными.

Вечером того счастливого дня, сидя за бутылкой шампанского, ничуть не удивленный событиями, Коля заявил:

— Сегодня я стал средоточием мировой флуктуации.

Дан, помнится, чуть со стула не упал. В Колиных устах сие прозвучало весьма и весьма странно...

— Средоточием чего? — только и выдавил из себя.

— Тебе, старый, не понять. Читай словарь иностранных слов, станешь образованным, как я.

— А все ж объясни необразованному.

— Флуктуация, старый, это... — тут он повспоминал малость и выговорил без запинки: —...это наименее вероятное отклонение от наиболее вероятного состояния.

— А попроще можешь?

— Проще некуда! — Выдул бокал шампанского, презрительно поглядел на Дана. Однако смиростивился. — Ладно, болезный, слушай сюда. Наиболее вероятное состояние — это что? Это я в лотерею рупь выигрываю, в главке мне звание зажимают, как водится, вместо него почетную грамоту суют, Люська девку рождает не сегодня, а в срок — через неделю. Ну, допустим, чего-нибудь одно все же случится, скажем, Люська рождает. Это похоже: у нее схватки еще вчера начались. Но чтоб все три события в один день, так не бывает. Ан нет, произошло. Почему, спросишь?

— Почему? — послушно спросил Дан.

— Флуктуация. Научное явление.

— Откуда ты про нее знаешь?

— Держу ушки на макушке, ватой не затыкаю. Был в первопрестольной в одной компахе, там физик бородатый про нее плел. Я и запомнил.

И Дан запомнил. И теперь всерьез подумал, что тоже стал средоточием мировой флуктуации. На нынешний день. И Оля здесь ни при чем: флуктуация, как сказал друг Коля, явление научное, а научные явления волшебству не подвластны.

И только придя домой, сообразил, что Оля в студию так и не позвонила.

С утра репетиция негаданно отменилась: приехали киношники, заставили зал с манежем прожекторами, изображали что-то «из цирковой жизни».

Тиль даже калоши не снимал. Постоял, посмотрел на кинодействие, сказал ворчливо:

— Лентам всегда везет, — и добавил для вящей ясности: — Это я о тебе, Данчик.

— А я понял, — кивнул Дан, — о ком же еще...

Сам-то он не прочь был покидать — по крайней мере ему так казалось, — чувствовал некий рабочий зуд в ладонях, считал, что вполне способен горы своротить. Если невысокие.

— Был бы ты умный мальчик, — сказал Тиль, — ушел бы в коридор и позанимался.

— В коридоре дует, как в трубе.

В коридоре и вправду дуло, сквозняки гуляли от дверей к окнам, и вахтер у доски с ключами сидел в овчинном тулупе и заячий ушанке.

— В какой трубе, Данчик? — поинтересовался Тиль, любящий во всем точность.

— В аэродинамической. Я домой пойду, Тиль.

— Дома тоже можно тренироваться.

— У меня потолки низкие. Завтра в десять, как штык!..

Вообще-то ему хотелось побродить по коридору неподалеку от казенного телефона, подождать: вдруг да и позвонит Оля. Его почему-то волновало стойкое молчание знакомой, хотя она говорила ясно: выйдет на связь «завтра-послезавтра». «Завтра» было вчера, сегодня наступило «послезавтра». Судя по всему, Оля девушка точная. Но торчать в студии, ничего не делая, фланируя по «аэродинамической трубе», значит вызвать удивление коллег: как так, деловой человек Дан и вдруг — сплошное тунеядство? Дан очень гордился своей мнимой репутацией делового человека, вечно куда-то целеустремленно спешил, даже болтаясь в главке, бессмысленно болтаясь, все же непрестанно поглядывал на часы, говорил веско и коротко, не спускал с лица озабоченного выражения. Театр для себя, как утверждают всезнающие искусствovedы...

Но Оля... А если она позвонит через час? А его нет в студии, и появится он только завтра... Станет она перезванивать на следующий день? Кто знает... Ну, не станет, не перезвонит — что с того? Мир перевернется? Дан с горя бросит общество и примет схиму? Что на ней в конце концов свет клином сошелся, на Оле этой, обыкновенно-замечательной? Или замечательно-обыкновенной... Была бы красавица — так нет. Или умница, остроумница, интеллектом наповал била бы... Впрочем, единственное, что Дан знал о ней точно, — внешние ее

качества. Да, не красавица. Но и не урод, обычная миленькая девушка, фигурка хорошая, улыбка, глаза. Вот глаза... Глаза, конечно, совсем необыкновенные, как у египетской кошки. Дан в жизни не встречал ни одной египетской кошки, но помнил, что в далекой истории были они существами священными, загадочными. Отсюда легко проглядывался вывод: у священной кошки глаза особенные, ничуть не похожие на обычные, какие-нибудь «кошкомуркинские». Оля, по мнению Дана, вполне походила на египетскую прародительницу киплингского кота, который, как известно, бродил сам по себе. Оля возникла сама по себе, появлялась точно так же, и приручить ее не было никакой возможности.

Дан все время убеждал себя, что ему не очень-то и хочется приручать ее, в любовь с первого взгляда напрочь не верил, не посещала она еще никогда, а та малообъяснимая симпатия, даже скорее тяга к египетской девушке Оле, которую Дан, если честно, испытывал, ему почему-то мешала спокойно жить, сковывала его.

Вот и сейчас он решительно направился к выходу, отбросив всяческие глупые колебания: ждать — не ждать, но рядом с вахтером висела свежая стенгазета, перл творения студийного профбюро, и Дан остановился почитать интереснейшую статью о пользе своевременной уплаты профсоюзных взносов. Читал он ее минут пятнадцать, смакуя и повторяя про себя каждую чеканную фразу, пока не поймал на себе подозрительный взгляд вахтера, скользнувший между ушанкой и поднятым до глаз овчинным воротником.

Взгляда Дан не снес, вышел из студии, сел в автобус и поехал на Октябрьскую улицу устраивать себе выходной, читать «Седую старину Москвы», смотреть телевизор, а вечером завалиться к знакомому по имени Валерий Васильевич, к его толстой и доброй жене Инне, агукающему сыну Антону и вечно молчаливой теще Марфе Петровне, которая если не варит суп, не печет пирог, не жарит котлеты, то сидит в темной кухне, не зажигая электричества, и смотрит на холодную плиту, еле заметную в плотном мраке, смотрит на нее с тоской человека, который сварил, испек, пожарил все что мог, делать больше нечего, жизнь кончена, пора вешаться или травиться газом.

Дан как-то спросил Валерия Васильевича:

— Вы не боитесь, что она все-таки откроет краники у плиты и — ку-ку?

— Не откроет, — уверенно сказал Валерий Васильевич, — ей нас жалко: мы без нее пропадем.

С семьей этой Дана познакомил друг Коля, невесть как туда втершийся, но быстро завоевавший неземную любовь всех четырех ее членов. Даже крикливая Люська пригласила там ко двору. Их радостно встречали, тормошили, обнимали, закидывали ворохом вопросов, ребенок заливался смехом и пускал слюни, теща Марфа Петровна на секундочку выходила на свет божий, щурила глаза, прикрывала их

ладошкой, улыбалась, говорила журчаще: «Здравствуйте вам, гости дорогие!» — и снова скрывалась на кухне, где немедленно загоралась лампа, конфорки, духовка, пора вешаться или травиться отодвигалась на неопределенное время, начиналась пора готовки. Теща говорила про Колю: «Надежный человек». «Надежный» в ее понимании — здоровый, сильный, уверенный, умеющий считать все выставленное тещей на стол — от пирогов до борща и, конечно, женатый.

Дан, по ее мнению, был ненадежным: здоровый — да, сильный — тоже, но вот уверенности в голосе и во взгляде маловато, ест плохо, холодец фирменный ковырнет, пирожок проглотит, салатиком переложит и сыт. Разве это мужик? Да еще и неженатый... Последнее возмущало не только тещу, но и всю семью, за исключением, естественно, сына Антона. Инна была как раз из тех жен друзей, которые вели в дом незамужних подруг и знакомили их с Даном. Скольких ее приятельниц знает Дан? Десяток, не менее. С двумя из них даже намечались кое-какие близкие отношения, окончившиеся, впрочем, ничем — как и следовало ожидать. Дан не любил сватовства и заранее относился к нему с предубеждением, говорил о том Инне, но разве она послушает? Она одержима одной идеей, и, как в песне, «никто пути пройденного у нас не отберет». Поэтому Дан в последнее время не сообщал заранее о своем приходе, являлся неожиданно, чтобы не встретить там очередную невесту. Считал: придет срок — сами найдем суженую, своими хилыми силами.

Пришел домой, поставил зонт в ванну сушиться и немедленно к телефону. Батюшки, да он включен! Отлично работают доблестные труженики службы связи, на уровне требований века научно-технической революции, который промедления не терпит. Вытащил записную телефонную книжку, начал знакомым названивать: так, мол, и так, запишите номерок, будем общаться двусторонне. Даже Коле в Киев позвонил — работал там друг.

Бестактный Коля сказал:

— Ну и дурак, что сообщил. Я теперь тебе жизни не дам. Как твой номер с моноциклой?

— Клеется помаленьку, не капай мне на мозги.

— Буду капать. Ночами звонить стану, в сон кошмарами приходить. Как статуя Командора.

— Не пугай. У тебя-то что в Киеве?

— У меня, старый, битковый аншлаг день за днем. Директор, гад, продохнуть не дает, одних шефских выездов за месяц десяток сделал. Силы на исходе. В субботу и в воскресенье по три представления лупим, порепетировать некогда. Только ночью и кидаю. Ну, лады, будь здоров, тут меня гонят, я тебе позвоню после репетиловки.

— Когда? — только и успел спросить Дан.

— Часа в два, — сказал Коля и повесил трубку.

Дан свою тоже повесил и впервые пожалел, что у него появился

телефон. И все же он был рад услышать друга, любил его и скучал без него; редко им приходилось видаться: в одну программу двух жонглеров не поставят, а в Москву не из всякого города приедешь. Скажем, закончил ты в воскресенье гастроль в Ташкенте, а в пятницу у тебя премьера в Ашхабаде. Стоит ли на два дня в столицу крюка давать, если от Ташкента до Ашхабада рукой подать?.. Иной раз только в отпуск в Москву и выбираешься, одна прописка в паспорте и напоминает, что ты москвич...

И тут зазвонил телефон.

Кто-то из оповещенных номер проверяет, подумал Дан, поднял трубку, сказал солидно:

— Слушаю вас внимательно.

— Хорошо, что внимательно. А я уж решила, что вы от меня скрываетесь: в студии вас нет...

— Оля! — заорал Дан. — Оленька, милая, в студии кино снимают, манеж занят, я ждал-ждал, надеялся, а потом неудобно стало — ушел, делать там нечего... — Он в радости даже не заметил, что «выдает» себя: ждал, надеялся — слова-то какие! Где его пресловутая сдержанность? Спохватился, сбавил тон: — Как вы узнали мой телефон?

— Ах ты господи, скучный вы человек. Вам реальное объяснение нужно? Пожалуйста: набрала «09», спросила номер, адрес-то я знаю...

— Позвольте, как «09»? Там меня в списки только через месяц включают, а то и позже. Я знаю, был случай проверить.

— Раз вы такой всезнающий, то не задавайте лишних вопросов. Главное — я дозвонилась. Ведь так?

— Так, — подтвердил Дан, старательно убеждая себя, что подтверждает он «главное» тоже ради вежливости, убеждая, но все же не очень веря своим убеждениям. Если честно, он тоже считал, что это — главное. — Вы сегодня свободны?

— Конечно.

— Пойдем в гости?

— Пойдем, обязательно пойдем. Но к кому?

— К моим приятелям. Помните, когда мы впервые познакомились, я от них возвращался?

— К Валерию Васильевичу и его жене Инне?

— Нет, что за память!

— Я помню и знаю все, что касается вас.

Дан не стал комментировать самоуверенное заявление, спросил только:

— Когда и где мне вас встретить?

— Как обычно: в полседьмого на остановке у Самотеки...

Поговорили, попрощались, Дан на тахту с книгой улегся, полистал пожелтевшие страницы («С «ятами», — как презрительно говорил Коля, не умевший читать дореволюционные издания, спотыкавшийся на каждой незнакомой — «мертвой» — букве), но не шла в голову

«седая старина», монастырские и храмовые истории: Оля мешала.

Она помнит и знает все, что касается Дана. Каково, а? На первый взгляд пустая фраза, но за краткое время знакомства Дан почти поверил, что пустых фраз Оля не произносит. Хотя сейчас про «09» — явно для проформы. Сказано, чтоб Дан-реалист успокоился, не приставал с глупостями. Но как она узнала номер? Позвонила на АТС? Или, может, она работает в Министерстве связи? Хорошее объяснение! Тогда она еще должна работать на полставки в Книжноторге, заниматься букинистической литературой. Иначе не объяснить ее провидение с книгой. Увидела она его коллекцию, предположила, что может его интересовать, позвонила туда-сюда, переправила «Седую старину» в Дом книги. Да, но старичок?.. Старичок, сдавший красный том, в схему не укладывался. А почему не укладывался? Он ее папа. Или дядя. Или сослуживец. Она попросила — он и снес книжечку в магазин. А то, что книжечка оказалась той самой, за которой Дан гонялся, случайность.

Друг Коля как-то анекдот рассказал. Спорили священник и атеист. Атеист говорит: «Чудес не бывает». А священник ему: «Взойдешь ты, допустим, на колокольню, сиганешь вниз и целым останешься. Что не чудо?» Атеист ему: «Не чудо — случайность». Батюшка горячится: «А ты еще раз взойдешь, вновь сиганешь, и обратно — цел». «Опять не чудо — совпадение». Священник к последнему аргументу прибегает: «Ты в третий раз с колокольни сиганешь и — ни синяка. Чудо?» «Ну, гражданин поп,— атеист ему в ответ,— это уж точно не чудо. Это привычка».

В Дане сейчас атеист со священником спорили, никто друг друга переубедить не мог, хотя Дан склонялся к тому, что период случайности закончился, начались совпадения, прав атеист. Как бы все в итоге в привычку не переросло...

Надо будет тещу Марфу Петровну о том расспросить: что слышно насчет волшебства на белом свете — не перевелось ли? И ведь скажет, что не перевелось, ибо в бога верует, в церковь ходит, службу отстаивает. Дан как-то едал у них куличи освященные — не тем ли батюшкой, что с атеистом спорил? — нормальные куличи, вкусные, рассыпчатые, ничем от обыкновенных, неосвященных не отличимые...

6

Не спросил ни о чем Марфу Петровну — не пришлось. Увидела она, что Дан не один в дом пришел, захлопотала, забегала, наготовила всякой всячины — стол ломился. Суета была ничуть не меньшая, чем когда разлюбезный Коленька появляется, а может, и поболее суетились: Дан ни разу со своей девушкой не жаловал — событие мировой значимости, раскрытая тайна Бермудского треугольника.

Ели, пили, Оля волшебницей не притворялась, вела себя вполне

реалистически, с Антоном агукала, над шутками Валерия Васильевича хохотала, с Инной о тряпках поговорила, а когда прощались, тещу Марфу Петровну в щеку чмокнула: спасибо, мол, вы настоящая волшебница, так все вкусно было. Выходит, не боится конкуренции, терпит рядом с собой иных волшебниц, даже поощряет их легкими поцелуями. Или настолько уверена в своих силах, что не верит в конкурентов — за таких не считает?

И снова был дождь, ожидание троллейбуса, только теперь они стояли под одним зонтом, под черным зонтиком Дана, тесно прижавшись друг к другу, потому что иначе — на приличном расстоянии — остаться сухим невозможно: льет не только с неба, но и с зонта.

Странное дело: храбрый человек Дан, нахальный ухажер, который ни за что не упустил бы счастливого момента «дождевого сближения», стоял и держал руки по швам, как школьник, впервые провожающий девушку. Что-то останавливало его от решительных действий, заставляло смущаться, двадцать пятым чувством ощущал, что не время сейчас руки распускать. Коля бы сказал: не обломится. А может, и «обломилось» бы, но не мог Дан справиться с непривычной скованностью — что с ним случилось? Да что там руки: он с Олей до сих пор на «ты» не перешел, на брудершафт не выпил, хотя нынче возможности были. Вон Валерий Васильевич — через десять минут «тыкал» Ольге, и она ему тем же отвечала, а уж об Инне и говорить нечего.

Тесно было им под одним зонтом, тесно, странно и сладко. Будто не было ни дождя, ни мокрого Садового кольца, ни машин, ни людей — двое в целом мире: очень чужие и очень близкие друг другу люди...

А на Самотеке она его все-таки высадила. Сказала:

— Никаких провожаний. Иначе поссоримся.

Одному под зонтиком — он его на сей раз в троллейбусе не оставил — было куда вольготнее. И куда тоскливее. Мокро жить на свете апрельской промозглой порой...

А ведь разговор у них в троллейбусе загадочным оказался, чтоб не сказать больше. Она спросила про его студийные успехи, а он не любитель плакаться, человек скрытный, умеющий и любящий неудачи да болячки переживать в одиночестве, сочувствия не терпящий, он, сильный мужик, вдруг да и начини жаловаться. Нет, не жаловаться, просто бросил с грустью:

— Неважные дела. Не идет работа.

— Что не идет?

— Бездарный я человек, Оля, меня даже режиссер мой за мастера не держит, по обязанности со мной возится.

— А не кажется ли вам это?

— Если бы!

— Кажется, кажется. Вы на меня, Дан, не обижайтесь, но, по моему, вы очень ленивый человек.

— Точное наблюдение.

— Не поняли вы меня. Не работать вы ленитесь, а поверить в себя. Привычка вас держит: я ленивый, я бездарный, куда мне до друга Коли. А раз так, то и стараться незачем.

— Я стараюсь.

— Плохо стараетесь. По инерции. Слушайте меня. Завтра вы придете на репетицию — только верьте мне, верьте, как врачу или исповеднику, иначе ничего не выйдет! — придете на репетицию и все у вас получится так, как вам хочется, как вы можете, вы один можете, и никто другой, и так будет всегда, пока верите вы, пока знаете, что есть у вас силы, есть талант, есть желание, пока я с вами.

На одном дыхании произнесла, как заклинание. Дан не смеялся, плохо ему было, плохо, как никогда. Будто вывернули его, а обратно не завернули, или не развернули — черт его знает, какую здесь приставку употребить!

— Пока вы со мной...

— А я буду с вами, пока нужна вам.

И сам того не хотел, а сказал, вырвалось помимо воли, выскочило откуда-то из подсознания:

— Вы мне очень нужны, Оля.

— Я знаю, — просто ответила она. — Поэтому я рядом...

Может, из-за того, что тошно было, он и не стал настаивать: мол, провози до дому, как же так, ночь все-таки, хулиганья кругом... Вышел из троллейбуса и пошел домой.

А когда добрался до своей квартиры, налил по дороге полные башмаки воды, брюки до колен вымочил, когда влез под горячий душ, вспомнил: во-первых, не договорился о следующем звонке — ну да это ладно, теперь у него телефон есть, позвонит Оля, а вот, во-вторых... «Во-вторых», казалось куда удивительней: от кого она про Колю узнала? Он ей ничего о нем не говорил, а тем более о его таланте, о славе, о том, что чувствует себя рядом с ним начинающим мальчиком и не тяготит его это чувство, ничуть не тяготит, но никогда, ни на секунду не забывает он о нем.

...А Коля все-таки позвонил ночью, ровно в два часа звонок раздался, Дан на часы посмотрел, но трубку не снял: спать хотелось, выпастись к завтрашней репетиции, да и разговаривать с другом никакого желания не было — настроение не то.

7

Прожектора погасли, киношники убрались проявлять пленку, репетиционный залчик, непривычный к массовой интервенции «варягов», почти обезлюдел, снова стал уютно-домашним. Как там у поэта: «Гул затих. Я вышел на подмостки».

Тиль сказал:

— Самое время потрудиться как следует.

— А как следует, Тиль? — Настроение у Дана отличное, рабочее, но бес противоречия головы не опускает.

У Тили в ручонках блокнот в роскошной кожаной обложке, с золотой монограммой и карандашик золотой, похоже, подаренные ему благодарными почитателями еще до отмены крепостного права: редкая работа, филигранная, теперь таких не делают, надобность перевелась, теперь пишут шариковыми тридцатикопеечными ручками в тощих блокнотах с серыми картонными корочками.

— Я стану фиксировать все твои завалы, Данчик. Я буду фиксировать их галочками. За каждые десять галочек ты мне даешь гривенник. Когда номер будет готов, на эти гривенники я куплю тебе автомобиль «Жигули» последней модели.

— Думаешь, хватит на автомобиль?

— Хватит, Данчик, вполне хватит, еще и на запчасти останется.

— А вот не хватит, язва ты старая, — обозлился Дан. — Купишь мне автомобиль из своих кровных.

— Я бы купил, дарлинг, но на тебе много не заработаешь. Мне же за номер одна платят: что я его месяц готовлю, что десять лет. Проживусь я с тобой, Данчик, последние штаны на хлеб сменяю, — сама кротость, голосок елейный, глазки долу опущены.

— Не дрейфь, Тиль, калоши останутся...

Взял три булавы, сел на «железного коня», поехал раскидываться, мышцы греть.

Ах, темп, скорость, лихое дело, свистят булавы перед лицом, а ты их не видишь, ты только их следы реактивные углядеть успеваешь, и звук за ними тянется, как за самолетом, а онивлипают тебе в ладони и снова взлетают — с двух рук, с правой — каскадом, а ну — по кругу, вдоль барьера, по писте манежной проедем: берегись, Тиль, задавлю! — и на центр, а там — вприпрыжку на моноцикле — раз, два, три, раз, два, три! — пошли булавы из-за спины — раз, два, три! — а теперь из-под ноги — раз, два, три! — не свалиться бы, равновесие не потерять — раз, два, три! — веселей, веселей, публика ревет, аплодисменты — горным обвалом...

— Стоп! — это Тиль крикнул.

Что такое? Что случилось?

— В чем дело, маэстро? — Поймал булавы, только теперь почувствовал тяжесть в груди, задышал часто-часто.

— Продышись, Дан.

Ты смотри: Дан, а не Данчик, высшая степень уважения.

— Я не устал, Тиль.

— Вижу. А все ж продышись секундочку... Готово? Бери четвертую.

Четыре штуки — это нам чепуха, семечки, пустим их с двух рук,

а теперь поедem, поедem, быстрее, быстрее, покрутим булавy, одну — под купол, внизу — тремя, тремя, тремя, бах! — четвертая прилетела, па-а-шли четырьмя. Каково?

— Кураж у тебя откуда-то появился, Дан.

— Он у меня всегда был!

Кидать не перестаем, темп-темп, посторонние разговоры нам не мешают, наоборот — поддержку оказывают.

— Где ж ты его прятал?

— В камере хранения, Тиль, на Казанском вокзале.

— Чего ж не пользовался?

— Берег, Тиль, на черный день копил.

Моноцикл между ногами жать, попрыгаем чуток — раз, два, три, четыре! — невысоко кидать, невысоко, темп не терять, пусть публика считает — раз, два, три, четыре!

— Сегодня — черный?

— Светлый, Тиль, светлее некуда.

В сторону четвертую, сейчас мы тремя фокус покажем, закрутим каждую в горизонтальной плоскости, как винт у вертолета, как бумеранг, который друг Коля в Австралии швырял... Пойдут в ладони? Пошли, пошли, внимание-внимание... И опять — вверх, повыше, все три — повыше, к колосникам, ловим их — раз, два, три! — ка-амплимент публике.

— Где ты этому научился?

— Чему, Тиль?

— Крутить их по горизонтали.

— Коля так делает.

— Ко-о-ля...

— А что Коля, что Коля? Пуп земли? Расстаемся — не хуже будем.

— Нахал ты, геноссе. Хорошо бы расстарался...

— Не волнуйся, Тиль, все лавры наши будут.

Дан сел на манеж, рядом со стульчиком Тили, глубоко дышал, восстанавливал «дыхалку». Тиль спросил:

— Не пересидишь? Кураж пропадет...

— Он у меня теперь никогда не пропадет.

— Слушай, Данчик, скажи честно старому Тилу: что произошло?

Что ему сказать? Честно? Честно — он не поверит... Честно — сам Дан не знал, что с ним случилось, отчего он сегодня кидает не хуже Коли. В конце концов так не бывает: вчера — посредственность, сегодня — талант.

— Я с волшебницей познакомился, Тиль. Она меня в мастера превратила.

— Душу ей продал, охальник?

Душу продал? Нет, Тиль, пока не продал, лишь приоткрыл чуток, да только попросит — так отдать можно, задаром. Задаром? Да

она тебе за твою душу столько авансов выдала — не расплатишься! Стоит ли твоя душа ее подарков? А почему ее? Опять в мистику бросило? При чем здесь Оля? Ну, сказала она, что пойдет у Дана номер, легко пойдет, как хочется, а он и поверил ей, крепко поверил, и все получилось — как же иначе? Иначе — так: не ей он поверил, а себе, вернее — в себя, и в том, конечно, есть немалая заслуга Оли, кто спорит, спасибо ей великое...

— Так как же насчет души, Данчик?

— Насчет души? При мне она, Тиль, непродажная... Смотри, как я пять швырять стану.

Собрал пять булав, оседлал моноцикл — внимание. Сначала медленно, собранно, аккуратно вычерчивая рисунок полета, его траекторию, чтобы каждая булава проходила ее высшую точку, на мгновение будто зависала в ней, задерживала свой крутящий момент и вновь шла вниз, в ладонь. А теперь чуть увеличить темп, не менять траектории, не трогать рисунка... Обычно в этом месте Дан и начинал сыпать — не выдерживал темпа, руки за ним не поспевали. Но сейчас булавы приходили точно в ладони, руки сами работали, как говорится, в автоматическом режиме, и Дан рискнул кидать быстрее, следил за булавами, видел их все сразу, а руки по-прежнему жили своей жизнью, подбрасывали, ловили, и Дан не смотрел на них, как хоккеист не обращает внимание на шайбу — все поле глазом охватывает, а шайба сама куда надо пойдет.

В студии свет ставят хорошо, ровно, не то что в иных новых — гигантских! — цирках. Там булаву вверх подбросишь, она и пропадет, выйдет из зоны света, из зоны видимости, а ты жди, трепеща, когда она вновь из ничего объявится, и на то, чтобы словить ее, времени у тебя почти не остается. Тяжело, хотя потом привыкаешь, на одной интуиции тянешь. А на небольшой зал прожекторов хватает, они все пространство полета одинаково хорошо освещают, напрягать зрение не обязательно.

Дан еще чуток темп увеличил — все шло прекрасно, и он рискнул поехать по манежу, не сбавляя темпа жонглирования, до того обнагтел, что перестал смотреть на булавы, уставился на воображаемую публику, улыбался ей. Правда, улыбка у него была малость натужной, деревянной. Вот Коля вообще не улыбается, но зато от публики глаз не отрываает. Говорит: «Я хорошенькую мордашку в первом ряду отыщу — для нее покидаю, она и довольна, смущается, когда я ее взглядом ем. А потом мне записочку через униформиста посылает: так, мол, и так, желаю встретиться». «А ты что?» — спрашивал его Дан. «А я эти записки Люське отдаю: пусть знает, как ее мужика бабы ценят».

Что до улыбки — она сама собой получится, со временем, не в ней счастье. А вот то, что Дан ни одной булавы не сыпанул и скорости не потерял, кидал куражливо — явный успех. До пяти булав в темпе, да

еще не на ковре — на моноцикле, это уже признак классности. Дальше проще: шесть-семь булав ни один жонглер долго не бросает, раза три всю серию выкинет, покажет, что и это ему по плечу, и хватит. Пора к кольцам переходить, пробовать, а булавы не оставлять, ежедневно тренироваться.

Соскочил с моноцикла, спросил:

— Ну как?

Тиль улыбнулся, сверкнул ровными белыми зубами.

— Сам знаешь, Данчик, шарман, порадовал сегодня старого Тили. А завтра что будет?

— Завтра будет тот же шарман. И послезавтра. И через месяц.

— Ну, коли так дело пойдет, через месяц я и вправду тебя на комиссию выпущу. Если, конечно, завод к тому времени аппарат отдаст, а ты его освоишь.

Что происходит на свете? Жил Дан не тужил, звезд с неба не хватал, на судьбу не надеялся, что мог, сам старался у судьбы взять, а мог немного, на большее ни силенок, ни умения, ни везения не хватало. Но и этим немногим доволен был, на неудачи не жаловался, даже скорее удачливым себя считал. Удачливым? Нет, Дан, до встречи с Олей настоящей удачи ты и не нюхал, а появилась Оля — удача косяком пошла: от мелочи к крупняку, по нарастающей. И впрямь флуктуация какая-то...

Хорошо ли так? А что плохого? Ведут тебя за ручку, ошибиться не дают, желания предугадывают, исполняют их тотчас же.

Хорошо ли так? Да ничего хорошего! Не любил Дан чужого, не умел одалживаться — ни деньгами, ни славой, ни счастьем. Но, позвольте, так рассуждать — значит верить в Олино волшебство: не в себя верить, а в некие потусторонние силы, которыми Оля, выходит, обладает. А как иначе объяснить дичайшую метаморфозу, за одну ночь приключившуюся с Даном? Был ноль без палочки, стал палочкой с нулями, великим жонглером под стать другу Коле. Так бывает? Не бывает... А почему, собственно, не бывает? Поверил в себя, мобилизовал внутренние резервы, до сих пор мирно дремавшие в организме, собрал волю в кулак и показал, на что способен человек. А человек на многое способен, возможности его наукой не изучены, ученые считают, что мозг лишь процентов на десять задействован, а остальные девяносто скрыты под корой. Открылись? Открылись. Оля им выход нашла...

Опять двадцать пять: при чем здесь Оля? А при том, что неделю назад Дан прелестно пользовался своими десятью процентами и об остальных не помышлял. А сейчас помышляет. И не просто помышляет — вовсю пользуется. Тилу в утешение, себе на радость.

И все-таки: Оля или не Оля? Как там спор атеиста с батюшкой? Кто кого? Дан с ужасом понимал, что батюшка потихоньку-потихоньку, а верх берет. Нет, нет, нет, так все же не бывает, не мо-

жет, не должно быть, хоть режьте на части, пытайте, иголки под ногти загоняйте!

А если поставить опыт? Так сказать, решающий эксперимент, как выражается Валерий Васильевич, командующий ученой физической братией. Поверить спор из анекдота строгой научной методикой: существуют волшебные силы или нет?

Шутка, конечно. Это мы балагурим, веселимся, хохмим.

А шутка-то подленькая и пахнет дурно. С кем шутить вздумал, ученый дурак? С человеком, который дорог тебе, сие уже и скрывать незначем. Случись что, волосы на себе рвать будешь, верно?..

8

Настроение было — хуже некуда. Проснулся чуть свет, валялся в постели, пытаюсь успокоить себя всесылным аутотренингом: ты полностью расслаблен, обезволен, твое тело тебе не принадлежит, ты не можешь даже руку поднять, ты не слышишь звуков, ты счастлив, счастлив, счастлив...

Черт, как кран на кухне капает, просто медленная пытка!..

Не поленился, пошел на кухню, с силой прикрутил кран: прокладку бы сменить, да руки не доходят.

Вернулся, лег, сначала начал: ты спокоен, спокоен, ты ощущаешь немислимую легкость своего тела, оно существует вне тебя, вне этого мира, не о чем думать, нечем думать — ты счастлив, счастлив...

Дерьмовый ты человек, Дан, человечиска, недочеловек, примат бесхвостый. Что ты наделал, экспериментатор, как ты в глаза ей теперь глядеть будешь?

А она-то хороша! Никаких подозрений, ни тени сомнения, ровным голосом:

— Я понимаю, Дан, очень хорошо понимаю. Неясно одно: почему ты думаешь, что другие — глупее нас с тобой? Ты был в главке? Интересовался? Нет? Так пойди завтра и поинтересуйся. Уверена: все будет в порядке.

Уверена она...

А не слишком ли ровный был голос? Даже холодноватый, с ледком, без красок... Догадалась? Нет, вряд ли. С чего бы? Все на уровне, все естественно, да и Дан не солгал, сказал о наболевшем, давно лелеянном.

Все так, все правда, но ведь дело не в том, что сказано, а в том — зачем сказано. Цель никогда не оправдывала средств, история сие крепко доказала. Да и к чему тебе понадобилась эта идиотская проверка? Плохо было?..

Они в тот вечер долго лежали, не зажигая лампы, не двигаясь, не разговаривая — оглушенные внезапно наступившей тишиной, и все

оказалось пустым и ненужным, кроме темноты и тишины — единственного, что до краев наполнило их мир.

По потолку пробежал свет от фар дальней машины, потом машина приблизилась, слышно было, как стучит на холостых оборотах распредвал — менять пора, что шофер, не знает, что ли? — хлопнули дверцы, кто-то смеялся, под дождем пробегая короткий отрезок пути до подъезда. Все это происходило, как пишут фантасты, в параллельном пространстве, в чужом мире, лишь отзвуком жизни касаясь их темноты и тишины.

Дан знал, что любит эту женщину, которую так и не открыл, не понимает, роду-племени ее не ведает — чужую, болезненно близкую. Он сам принадлежал к тому — параллельному! — пространству, где рычали машины с разболтанными клапанами, где смеялись не очень трезвые и такие ясные и простые подгулявшие полуночники, где какую уже неделю лил дождь и где зонт был только зонтом, а не крышей на двоих. Она увела, утащила его в свой мир, в свое пространство, где понятное легко превращалось в загадочное, где тайны всегда лежали под рукой — блестящие и легкие, как жонглерские мячики.

«И невозможное возможно...»

Кто это сказал? Блок это сказал...

Дан знал, что любит эту женщину, и в ту минуту — нет, в те часы! — верил, что никогда, ни за что не станет проверять ее волшебную силу. И вовсе не потому, что отлично изучил классику и помнил, с чем осталась вздорная старушенция, испытывавшая терпение золотой рыбки. При чем здесь классика? Дан любил эту женщину и мучительно не хотел, чтобы она была волшебницей.

Почему же, когда он провожал ее до разлучной троллейбусной остановки, когда шли они бульваром, старательно обходя лужи на гравии, шли, прижавшись друг к другу под черной японской крышей на двоих, почему он рассказал ей о тех нескольких страничках, что четыре месяца назад отнес в репертуарный отдел главка.

Сколько он вынашивал их, прежде чем отпечатать на расхлябанной машинке, одолженной в бухгалтерии студии? Год? Два? А может, он уже представлял себе их содержимое, когда только-только клеил свой первый номер в училище, когда маленькая, некрасивая женщина, знаменитая в прошлом артистка, его педагог, фанатично влюбленная в летающие булавы, кольца и мячи, говорила ему: «У тебя, Дан, прекрасная голова, ты умеешь думать, но — ах — если бы ты не ленился!...»

Даже Тилло он ничего не сказал об этих нескольких страничках.

А Оля слушала его и молчала, она умела слушать, не перебивая, не задавая лишних вопросов, просто слушать — великое качество, почти утерянное людьми в наш торопливый век.

Дан рассказывал ей об аттракционе, о пестром и темповом зрелище,

где будут участвовать десять жонглеров, работающих соло и все вместе — синхронно, с танцами, с акробатикой, об аттракционе, где можно показать долгую историю жанра, давным-давно начатого бродячими комедиантами и доведенного до совершенства такими асами, как друг Коля. И лошади будут там, и моноциклы, и проволока над манежем, и трапеция под куполом, потому что кидать всякую всячину можно везде, главное — хорошо кидать.

Дан мечтал прийти в училище, отобрать молодых парней и девчонок, умеющих и любящих «кидать всякую всячину», попросить ту женщину помочь ему и им. А может — вот было бы здорово! — Коля станет работать с ними, и тогда они никогда уже не расстанутся, чудесная жизнь начнется!

Все написал Дан на тех страницах, ничего не упустил. Как сумел, так и написал. За эти четыре месяца сто раз был в главке, а спросить о судьбе своей идеи стеснялся, считал: если понравилась, сами бы ему о том сообщили. А видно, не понравилась идея или не поверили граждане-начальники, что какой-то средний жонглер с ней справится. Вот если бы Коля на себя инициативу взял — дело другое, Коля — имя надежное, гарантия качества. А ведь не его это мысль, не Колина, Дан ее выносил, кому, как не ему, воплощать...

Сказал, чуть не крикнул:

— Ты понимаешь меня, Оля?!

И она ответила ровным, пожалуй, слишком ровным голосом — тогда и ледок в нем Дану привиделся:

— Я понимаю, Дан, очень хорошо понимаю. Неясно одно: почему ты думаешь, что другие — глупее нас с тобой? Ты был в главке? Интересовался? Нет? Так пойди завтра и поинтересуйся. Уверена: все будет в порядке.

И черт дернул его спросить не без надежды на определенные обстоятельства:

— Точно уверена?

И услышал в ответ то, что хотел, что страшился услышать:

— Точно уверена!

Наутро проклинал себя, репетировал, как во сне, однако не сыпал, взялся за кольца — преотлично пошли, кидал пять колец в зверском темпе и без завалов. Под конец решил на личный рекорд: выкинул десять колец и все словил. Тут не надо путать два глагола — «выкидывать» и «кидать», разные в жонглерском деле понятия, хотя и с одним корнем. Кидать — жонглировать постоянно, подбрасывать и ловить, подбрасывать и ловить — три, четыре, пять, даже шесть предметов. Но есть предел ловкости рук, предел человеческой реакции: девять, десять, одиннадцать предметов можно лишь выкинуть: единожды подбросить и все успеть поймать, тут тоже отчаянная ловкость нужна, быстрота, цепкость — далеко не всякий на это способен.

Тиль сказал:

— Ты сегодня какой-то нездешний, Данчик. У тебя неприятности?

— С чего ты взял? — получилось грубовато, но Тиль не стал вдаваться в подробности.

— Твое дело, молчи. Оно и хорошо: автоматизм появился, добротное качество для мастера...

Первый раз мастером назвал, а Дан даже не обрадовался, о другом думал: идти или не идти?

Когда стоял под душем, решил окончательно: пойдет. Дальше играть в стеснение не имело смысла.

Приехал в главк и — сразу в репертуарный отдел. А там его встретили чуть ли не с объятиями: наконец-то появился, долгожданный ты наш!

Оказывается, его заявку вчера рассматривала режиссерская коллегия главка, кое-кто был против, говорил, что сам Дан аттракциона не вытянет, что идея богатая, перспективная, но надо бы ее — пусть Дан не обижается — кому-нибудь из более сильных жонглеров передать. И Колину фамилию называли. Но тут выступил Тиль и сказал, что передавать аттракцион никому не следует, что Дан отлично с ним справится, — надо видеть, как он в последнее время кидает, не зрелище — одно удовольствие! — что Коля — человек умный, творческий и сам не откажется присоединиться к аттракциону, тем более что они с Даном друзья не разлей вода. И что он, Тиль, рад будет, если главк назначит его режиссером в аттракцион, ибо нет ничего приятнее, чем работать с мастерами своего дела. Так и сказал: с мастерами, имея в виду его и Колю. И об училище шла речь, о том, чтобы выпускников задействовать. Тоже поддержали. В общем — полный успех, фанфары и литавры.

Сказали: в срочном порядке пишите сценарий, его быстренько утвердят, и с будущего года — как смету составят — начнете собирать людей, репетировать, заказывать костюмы и оборудование.

Тут бы Дану «в срочном порядке» нестись за письменный стол, мысли в слова облекать, брать напрокат пишущую машинку, а он, равнодушный, только и сумел, что поблагодарить за внимание, пообещал серьезно подумать над сценарием.

Апатии его удивились, спросили: есть какие-нибудь трудности? Может быть, профессионального сценариста подключить?

За сценариста опять поблагодарил, отказался. Поинтересовался: что с его номером станет — с тем, что сейчас готовит?

Объяснили — снисходительно, как маленькому: новый номер органично войдет в аттракцион. И старый тоже войдет — с моноклем, сигарой и тростью. Как забываемое прошлое отечественного цирка.

Не понял Дан, как они туда войдут: что ему, аттракцион из лоскутов тачать? Новый значит новый. От начала до конца... Но спорить не стал. В конце концов в его теперешнем номере единственно

новое — подаренное Олей умение кидать без завалов. И только. Так оно-то как раз и не пропадет — всегда пригодится...

Но думал об этом как-то механически, по инерции — положено, вот и думается, а радости не ощущал, полета души необыкновенного, когда кажется: теперь все горы — пустяк, все высоты покорятся, теперь только работать, работать, работать — до одурения, до радужных кругов, где они там от усталости возникают — в голове или в глазах?..

Вот работать как раз и не хотелось. Хотелось вернуться домой, забиться в дупло, забаррикадироваться от всех. Не видеть, не слышать, не думать.

А выйдет — не думать?

Дан знал точно: не выйдет.

Почему, спрашивал он, сделав подлость, человек всю старается убедить себя в том, что поступил единственно правильно, что не было иного выхода, что не подлость это вовсе? А что тогда? Естественное желание осуществить давнюю мечту, ставшее возможным благодаря любимой девушке. Естественное...

Помнится, был у Дана приятель, не цирковой — из технической братии. Влюбилась в него до одури одна стюардесса, на международных линиях она летала, из всяких Брюсселей и Парижей не вылезала. Ну, валюта там, шмотки заграничные — все при ней. Раз галстучек своему инженеру привезла, другой раз — рубашечку, третий — одеколончик для бритья с фирменным запахом. А он — интеллигентный такой, тактичный, томный, сволочь порядочная — начал этим остороженько пользоваться. Скажет: ах, как я мечтаю о хорошей «паркеровской» ручке... Бах — через два дня имеет ручку. Дальше — больше: ботиночки чтой-то сносились, сорок вторым размером пользуюсь... Хлоп — через неделю щеголяет в замшевых «мокасинах»... И ведь не любил ее, ни чуточки не любил. Хорошо, девка вовремя раскусила его, отставку дала. Год назад Дан встретил ее на Калининском: замуж вышла, ребеночка родила, летать бросила, счастлива...

Так ведь он, инженер этот, не любил ее...

А ты, Данчик, любишь свою волшебницу, рыбку свою золотую? Любишь, не можешь без нее — верно! И от этого ты — еще большая сволочь, чем твой приятель. С кем, как говорится, поведешься...

Кой черт ты о нем вспомнил, при чем здесь он? А при том, что не проверял ты Олино волшебство, поверил в него без оглядки и расчетливо использовал. Знал, что получится все наверняка, переспросил даже: «Точно уверена?» — и ответ получил тот, который ждал. Как бы ты разочаровался, если бы она вдруг заколебалась!.. А отговорку «про эксперимент» придумал для оправдания: мы-де не рвачи, мы — ученые-атеисты, в чудеса не верящие.

Что будешь делать, мастер?

Но чудес-то не бывает... Верно, не бывает, все куда проще, понятнее: попал в полосу везения, со всех сторон пофартило. Того и следовало когда-нибудь ожидать: руки есть, голова на плечах имеется, только веры в себя и не хватало. А фортуна — баба с ног до головы, она уверенных любит, помогает им. Права пословица: у счастливого и петух несется.

Хорошо, пусть так, никакого волшебства нет, а есть ряд совпадений, ничуть не противоречащий всесильной теории вероятности. А как же быть с твоим: «Точно уверена?» Ни в какую ворожбу не верил, а все ж спросил — на всякий случай, как перед приметой подстраховался. Самые стойкие атеисты стучат по дереву и плюются через плечо, чтоб не сглазить, опасаются черных кошек, разбитых зеркал и рассыпанной соли.

Значит, подстраховался? На всякий случай? Хотя бы и так, хоть бы и сам не плошал, а золотую рыбку привлечь в соучастники не преминул...

Дан окончательно запутался, заблудился в себе. Одно знал точно: виноват перед Олей. Как встретится с ней, заговорит, в глаза взглянет? Сможет? Не знал он, ничего не знал...

А тут телефонный звонок раздался. Дан посмотрел на часы: вечер уже, три минуты седьмого. Телефон звонил, а Дан не снимал трубку, слушал пронзительные, резкие звонки, каждый из которых отзывался болью в голове. Телефон перестал звонить, и Дан закрыл глаза: умел бы плакать — в голос бы завыл. Вчера договорились: Оля позвонит в шесть часов, сразу после работы. Позвонила. Вот и все.

Все.

И до самого утра, до серого апрельского рассвета тихо было в пустой квартире. Только кран капал. Ну да его Дан утром подвернул, а вернется с репетиции — новую прокладку поставит, плевое дело, пять минут работы.

9

Добираться из Марьиной рощи в Измайлово, в студию — удовольствие ниже среднего. Три вида транспорта — троллейбус, метро, автобус, почти час езды. Единственное, что утешало: никогда не попадал в часы «пик». Ехал на репетицию к десяти утра, когда основной поток работающего люда уже схлынул, человечество приступило к созданию материальных ценностей, а духовные — вроде циркового номера Дана — могли и подождать.

Дан порой спрашивал себя: кому нужно его искусство? Странная штука память! Люди ходят в театры и кино, рассказывают знакомым: вчера видели Смоктуновского в такой-то роли, или Гоголеву в таком-то спектакле. А как насчет цирка? Примерно так: в кои-то веки

выбрались, дети упросили на клоуна посмотреть, программа хорошая, интересная, слоны были, собачки, джигиты на лошадях... И хоть бы кто одну фамилию вспомнил! Увы: фамилии цирковых артистов знают только истинные любители. Таких немало в каждом городе, куда «доставляет» цирковой артистический «конвейер», больше того — каждый человек знает имена Карандаша, Попова, Никулина, Кю, еще три-четыре имени. А всего в «конвейере» — тысяч шесть, мотаются по стране, по стадионам и шапито, работают, как проклятые, калечатся, становятся пенсионерами в тридцать, а то и в двадцать пять — работу с малых лет начинают, до старости не бросают, случается — умирают прямо в цирке: инфаркт настигает где-нибудь между дневным и вечерним представлением, и лежат в манеже, и оркестр играет Шопена, и, не стесняясь слез, плачут веселые клоуны, куражные джигиты, лихие акробаты. А на следующий день они снова выйдут радовать публику, которая не вспомнит их имен, дай бог — номера в памяти останутся, и, наверно, это правильно, потому что искусство цирка — в отличие от театра или кино — сильно своим единством, своей цельностью, когда «единица — вздор», когда жонглеры, клоуны, канатоходцы, гимнасты — все вместе, все — одно, пусть не сумма единиц, а сумма единственностей, но все же сумма. И только все вместе они заставляют зрителей вздыхать о цирке, как о празднике, и тогда зрители отлично помнят имя каждого.

Его нетрудно запомнить, считал Дан, оно у нас общее. Цирк — наше имя. И пусть ему завидуют артисты кино и театра, любой из которых носит свое, неповторимое, лелеемое. А общего у них нет.

Сделает Дан аттракцион — если сделает, будет в нем десяток участников по имени Цирк, и сногшибательный Коля, заслуженный артист, жонглер с мировым именем, станет не собственной фамилией гордиться, а общей.

А есть ли смысл делать аттракцион?

Выпустить новый номерок, ездить с ним по городам и весям до тихой старости, до того момента, когда руки откажут, когда ими не только булаву — ложку с кашей трудно поднять станет, как частенько у жонглеров случается, если они в манеже не ваньку валяют, а вкалывают на совесть. А можно и ваньку валять, публика добрая, не заметит, а заметит — простит, еще и в ладошки похлопает. Красота, кто понимает...

Только Дану того не понять: он этот аттракцион, как сказано, с училищных времен лелеет и забыть о нем не сможет — не получится.

Значит, делать?

Значит, делать.

Несмотря на то, что выпросил его у бабы-фортуны, поплакался у нее на плече? Почему, собственно, выпросил? Заслуженно получил, и теперь только от тебя зависит удача: хватит сил, умения, терпения — все тип-топ будет.

Теперь только от тебя зависит...

Днем все куда радужней кажется: и черное вроде не так уж черно, а белое — белей не выдумать. Днем мысли чище, настроение повыше, днем совесть дремать начинает, носом клевать, раз за ночь не отоспалась, не отдохнула. И небо уже не такое низкое, не висит над головой, за зонт задевая, и даже дождь не слишком мокрый, а коли сей парадокс вздорным покажется, то выразимся иначе: не слишком холодный, не слишком колючий — обыкновенный весенний дождик. Днем все кошки окрашены в разные цвета, а твоя серая-таки стервозная кошка-совесть нежно мурлыкает. Но когтей, заметим, не прячет, пробует их, напоминая о себе.

Переоделся в рабочее трико, вышел в манеж.

— Привет, Тиль. Спасибо тебе за добрые слова об аттракционе.

— Не за что. Мы о нем еще поговорим — есть о чем. А пока приступай, Данчик, трудись, номер плановый, его выпускать надо, а то с меня шкуру на перчатки дерут.

— Пожалее, — сказал, чтобы что-то сказать.

Влез на моноцикл, начал раскидываться — рук не ощущал, тело, как не свое, булава по запястью ударила — болью в плече отдалось.

— Что с тобой, Данчик, не выспался?

— Пустяки, Тиль, сейчас разогреюсь.

Вроде раскидался, что-то получаться стало. Взял четвертую булаву, пошел работать, не торопясь, приноравливаясь к чужим еще рукам, но уже слушались они, ловили, подкидывали, обретали ловкость. Увеличил темп — раз, два, три, четыре! Что за черт, уронил булаву! Ничего, бывает. Тиль молчит. Вновь начал бросать, побыстрее-побыстрее, поехал по кругу — опять уронил. Повторим. Быстрее, быстрее, пошло, пошло — раз, два, три, четыре! — еще быстрее! — раз, два, три, четыре! — вот так-то лучше! — раз, два, три... Четвертая — на ковре.

Что происходит? Ничего особенного: как кидал неделю назад, так и нынче идет. Мастерство, которое появилось недавно, исчезло начисто, осталось прежний среднекрепкий жонглер Шереметьев Д. Ф., штатная единица главка, артист по имени Цирк. Кураж пропал.

— Сядь, Данчик, посиди с Тилем.

Послушался. Бросил булавы на арену, сел на барьер. Тиль вместе со стульчиком развернулся к нему лицом, блокнотик закрыл, страницу карандашиком заложил.

— Не спрашиваю, Данчик, что сейчас происходит. Хочу узнать, что, к примеру, позавчера было?

А что позавчера было? Кидал отлично, мастерски работал, вот что было.

— Не знаю, Тиль, сам не могу разобраться.

— Прости старика за бестактность, Данчик, но нет ли здесь причины по имени Оля?

Запомнил имя, старый хрен, память, как у мальчика.

— Какая, в сущности, разница, Тиль...

— Большая разница. От девушки Оли многое зависит.

Во дает! Дед Мороз и Снегурочка. Учитель и ученица. Старый колдун Тиль подговорил свою юную воспитанницу малость поработать с нетвердым душой материалом. Рассказ из серии святочных.

— Что же от нее зависит?

— Все, Данчик: твое настроение, твоя удача, твое дело. Ты от нее зависишь, как пишут в газетах, целиком и полностью.

Забавный разговор получается...

— Именно от нее?

— В данном случае от нее.

— Есть и не данный?

— Есть такое понятие — «вообще». Мы, мужики, вообще от женщин зависим. Они все волшебницы, Данчик, если, конечно, они женщины, если не потеряли они своей — богом данной — волшебной силы среди кастрюлей, в магазинной толчее, на профсоюзных собраниях, в кабинетах начальников. Многие не выдерживают, теряют ее, эмансипацией задавленные, да еще и прикидываются, будто так и должно быть, будто женщина — не женщина вовсе, а в первую голову инженер, ученый или там тракторист. И заметь, Данчик: не инженерша или трактористка, а непременно в мужском роде, потверже, пожелезнее. А на кой ляд миру ученые и трактористы, если женщины в нем исчезают? Ты об этом думал, Данчик? То-то и оно, что не думал...

Конечно, не думал. А теперь сидел, слушал, размягченный, а Тиль журчал тихонько и совсем не был похож на обычного ироничного и злого гномика: и вправду уютный и добрый Дед Мороз.

— А с чего они, Данчик, в трактористы-то подались? Разве от хорошей жизни? Оттого, что настоящий мужик по нынешним временам — тоже редкость. Настоящий мужик — он какой? Он до дела — зверь, он с себя тыщу потов спустит, а дело на совесть выполнит. И нежный он, Данчик, хрупкий, и только сверху стальной. А внутри у него, под стальным кожухом — такая субстанция, говоря научно, которая женской волшебной силе очень поддается. И хорошая волшебница этой субстанцией легко управляет. Нас, Данчик, всю жизнь женщины делать должны — с рождения до смерти, так природой наказано. И протривиться природе не следует, тебе это боком выйдет. Понял?

— Да разве я настоящий?

— Похоже на то. Все мы изначально настоящие, пока акушерка пупок не перевяжет. А далее все от нас самих и зависит. Теряются мужики — женщины исчезают. Они эмансипируются, мы феминизируемся. Все взаимосвязано, Данчик, диалектика не врет.

— А что ж ты, Тиль, настоящей женщины не нашел? Бобылем век тянешь...

— Я нашел, Данчик, давно нашел. Только и потерял давно. Мою женщину, Данчик, в девятнадцатом году в Иркутске интеллигентные мужички порубили. Они-то себя настоящими считали, цветом империи...

— Прости, Тиль, я не знал...

— Никто не знал, Данчик, я с тобой первым за много лет разговорился. А прощения просить не за что: давно это было, почти забыл все.

— Сколько же тебе лет, Тиль?

— Много, Данчик, страшно много, со счета сбился... Ты вот что, сегодня иди домой, отдохни, полежи, подумай. И завтра не приходи. Я загляну в студию: тебя нет — значит еще думаешь. А как надумаешь — явишься.

— Что надумаю, Тиль?

— А про Олю. Что хочешь, то и надумаешь, другого не выйдет. Все. Генук трепаться.

Встал, неторопливо сложил стульчик, ботинки в калоши втиснул, подхватил портфель.

— Бон шанс, Данчик, всего наилучшего.

Дан не смотрел ему вслед, сидел, сгорбившись, на барьере, оперев о колени локти — этакий бессмысленно сильный циркач с голубой картины Пикассо. Да только не было перед ним никакой девочки, тоненькой девочки на шаре. И шара не было. Дан — жонглер, а шар — типичный атрибут номера эквилибристов.

10

Вот и объяснил все мудрый Тиль, премудрый пескарник, который себя делал сам — некому его делать было. А скорее всего ничего он не делал, забрался в прочный футляр — тогда, в девятнадцатом, все застежки застегнул, задвижки задвинул, жил по инерции, ибо ничего он не забыл с тех пор — наговаривает на себя, одной памятью и существует. Портфель его — футляр, калоши — футляр, блокнотик с монограммой... И никто с тех пор в тот футляр не заглядывал — желания не возникало. Живет рядом старичок-боровичок, засушенный цветок из гербария. «Как дела, Тиль?» «Дела — лучше некуда!» Спросили — ответил, не спросили — промолчал, тоже ладно, до обид ли ему, когда все кругом в заботах захлебываются, а заботы, вестимо, наиважнейшие, чуть ли не государственные: кому ставку не повысили, кто с женой полаялся, у кого сын по химии пару схлопотал, кого вместо Киева на гастроли в Жмеринку услали. Тиль обо всем послушает, каждому совет преподаст. Вот и ему, Дану, тоже преподал...

Спасибо тебе, Тиль, добрый человек, не за совет спасибо — не в нем суть, да и никаких особых рецептов Тиль не выписывал — за откровенность спасибо, за то, что не прикидывался бодрячком, не хлопал по плечу: все пройдет, Данчик, не унывай, родимый! — за то, что сумел понять его и сказать о самом важном.

Ничего не казалось Дану важнее, чем банальные, в общем, откровения Тиля. Да, банальные, но не стали они от того глупее или невернее. В вечном своем стремлении к эксцентричности, к вящей оригинальности забываем мы о самом простом, об изначальном, о сути, если хотите, бежим ее, в эмпиреях витаем, а суть — внизу. Нам ее снизу выносят умные люди, а мы: ах, как примитивно, тривиально, общеизвестно!..

А коли общеизвестно, чего ж забыли? Чего ж не пользуетесь?

В тот последний — счастливый! — вечер Оля остановилась у книжного стеллажа, пробежала взглядом по темно-синим корешкам «Библиотеки поэта», сказала вроде бы ни к чему:

— «Женщина, что у тебя под шалью? — Будущее!»

Дан тогда отметил про себя: цитата откуда-то, девушки у нас образованные. А сейчас тщился вспомнить: откуда — и не мог, не знал он этих строк, даже автора угадать бессилён.

А ведь Тиль о том же говорил, только суровой прозой. Каждая женщина — волшебница. Бальзам на душу, а, Дан? Каждая — не только твоя! И надо без оглядки верить в их волшебство и не мучиться ложной гордостью: как я, такой сильный, со всех сторон — из нержавеющей стали, обыкновенной бабе судьбу вручаю? В том-то и секрет, что необыкновенной. Обыкновенные, прав Тиль, нынче свое равенство с сильным полом вовсю доказывают, опорные позиции завоевывают, мир перевернуть готовы. Тут и сам Дан цитаткой к месту щегольнуть может: «Руки, которые не нужны милому, служат — Миру»... А необыкновенным нечего завоевывать, они своих позиций никогда не сдавали, и прочнее этих позиций ничего в мире нет.

Дурак ты, Дан, дурак непроходимый. Хотели тебя на ум наставить, а ты — как и положено дураку — воспротивился. Сейчас бы рад все назад повернуть, а поздно...

А вдруг не поздно?

Найти ее, прочесть все дома вокруг Садового кольца, сутками на каждой остановке после Самотеки дежурить, ждать, когда выйдет она из троллейбуса, вернуть сказку, которая и есть жизнь...

Но ведь Оля — волшебница, она про него все знает, все чувствует, неужели не поймет, как плохо ему сейчас?

А если и поймет, с чего бы ей объявиться? Он сам не снял трубку с телефона, сам, никто его за руку не держал.

Но ведь Оля — волшебница, она все про него знает. Она знает, что он ее любит, хотя и не говорил ей о том, опять гордость дурацкая помешала.

Но он-то не волшебник и ведать не ведает: как Оля к нему относится? Что-то не слышал он от нее про любовь... Не слышал, потому что не хотел слышать, страшился слов, ибо на них реагировать надо, другие слова в ответ говорить — самые главные, единственные. Нет у него таких слов, не знал он их никогда, не повторял...

Нет?..

Есть, тысячу раз — есть, только его слова, собственные, выношенные!

Поздно, Дан, поздно...

Подошел к окну: когда этот дождь кончится? Апрель на изломе, хочется солнца, настоящей весны, зелени, сухого асфальта, расчерченного квадратами «классиков», надоели плащи, зонты, даже Тилу его калоши, верно, осточертели.

Посмотрел на часы: без двух минут шесть. Молчит телефон, молчит, как заклятый, никто не рвется поговорить с Даном, все, кому номер сообщил, записали его и забыли. Друзья, называется...

Ровно шесть на часах, конец рабочего дня, контрольное «телефонное» время.

Какой дождь на улице! Вспучиваются, лопаются водяные пузыри на лужах, перевернутой лодкой плывет-летит над ними легкий-легкий цветастый зонтик.

Сергей Александрович Абрамов

ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ

Редактор Д. К. Иванов.

Технический редактор Е. Н. Щукина.

Сдано в набор 21.10.81. Подписано к печати 18.12.81. А 00484.
Формат 70×108^{1/32}. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2.10. Учетно-изд. л. 3.20.
Тираж 100 000 экз. Изд. № 2845. Зак. № 1487. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, ГСП, Москва, А-137,
ул. «Правды», 24.

**ПЕРЕДЕЛКА ОДЕЖДЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
В ДЕТСКУЮ — СПОСОБ ПРАКТИЧНО,
ДЕШЕВО, НАРЯДНО ОДЕТЬ РЕБЕНКА**

Смело освобождайте платяные шкафы
от надоевших немодных вещей.

Не смущайтесь, если вам покажутся
необычными для детской одежды
ткани, их цвет и фактура.

При необходимости
мастера-закройщики украсят одежду
забавными аппликациями, яркими кантами,
бейками, воротниками и манжетами.

Заказы на переделку одежды для взрослых
в детскую принимают СПЕЦИАЛИЗИРОВА-
ННЫЕ ДЕТСКИЕ АТЕЛЬЕ.

Росбытреклама